

Воспоминания „смертника“ о пережитом священномученик Михаил Чельцов

Предисловие

Предисловие

Одним из главных эпизодов страшных гонений, обрушившихся на Церковь после установления в стране безбожной власти был открытый суд в 1922 году над петроградским митрополитом сщмч. Вениамином и группой духовенства и мирян, в число которых входил автор публикуемых воспоминаний прот. Михаил Павлович Чельцов. Также приговоренный к расстрелу, он тогда был помилован и мученический венец получил позднее – был убит в ночь на Рождество 1931 года.

Чельцов пользовался в Петрограде большой известностью. Родился он в Рязанской губернии, в семье священника деревни Кикино в 1870 году, учился в Рязанской семинарии, а затем – в Казанской Духовной Академии, которую закончил в 1894 году, преподавал в Калуге и только в 1898 году переехал с семьей в столицу, чтобы защитить магистерскую диссертацию «Церковь Королевства Сербского». Проработав три года епархиальным миссионером и столько же в канцелярии обер-прокурора Синода, с осени 1903 года о. Михаил служит в церкви Института гражданских инженеров и читает в институте курс богословия, который пользуется у студентов большим успехом, благодаря своему живому и убедительному изложению. Отец Михаил также занимается творчеством. Он пишет в журналах статьи, издает брошюры и книги, среди которых есть довольно объемистые и серьезные: «Единоверие за время столетнего существования в Русской Церкви» (1900), «Современная жизнь в расколе и сектантстве» (1905), «Христианское мирозерцание» (1917). Батюшка часто выступал на религиозно-философских и церковных собраниях.

В 1920 году прот. Михаилу пришлось перейти из закрытой институтской церкви в Троицкий Измайловский собор, где он был пять лет настоятелем, одновременно читая лекции на Высших Богословских курсах. В 1919 году отец Михаил был избран председателем Епархиального совета и оставался в этой должности до своего последнего ареста. Из-за этой должности он был арестован во время заранее запланированной властями акции по грабительскому изъятию церковных ценностей, истинной целью которой было запугивание верующих и уничтожение русского духовенства. Сорок дней и ночей провел он в камере смертника на Шпалерной. После нескольких лет заключения о.

Михаил был настоятелем вскоре взорванной Мало-Коломенской церкви Воскресения Христова.

Летом 1929 г. нелегально прибыли из заграницы в Ленинград два бывших офицера и вывезли из СССР графиню З. Отец Михаил, бывший ее духовником, служил напутственный молебен. По прибытии в одну из западных столиц графиня всем рассказала детали своего бегства, что советская агентура передала в ОГПУ. В августе 1930 г. был арестован о. Михаил, всего было схвачено около сорока лиц из знакомых графини.

После единственного допроса о. Михаил говорил сокамернику в тюрьме на Шпалерной, что следователь его предупредил, что его, бывшего «смертника», теперь безусловно ждет расстрел. Страдалец за веру православную спокойно говорил: «Мне шестьдесят три года; прожита жизнь не всегда легкая. Дети уже выросли и мне надо радоваться, что Господь посылает мне этот конец, а не старческий недуг и многолетние страдания на одре болезни... Вы еще молоды, а меня Господь к Себе призывает таким благословенным путем». Через несколько недель о. Михаил и еще пять человек были расстреляны по этому делу. Сегодня он молится за нас и землю Русскую перед Престолом Господним.

По статье В.В. Антонова (Санкт-Петербургские епархиальные ведомости, вып.10, ч.1, 1992)

Воспоминания 1918–1922 годов

Первый обыск

Январь 1918 года. Царят уже большевики и повсюду нагоняют страх и трепет. Из боязни вооруженных сопротивлений в самом городе, они ищут везде и у всех всякого рода оружие. Я никоим образом не думал, что оружие или сохранение его они предположат и у нас – православных священников. Но у страха глаза велики. Подвергся обыску и я. Был зимний вечер, – так часов восемь-девять. У меня собрался причт Троицкого Измайловского собора: обсуждали подробности нашего участия в устраивавшемся тогда, а потом и состоявшемся весьма грандиозном всегородском многочисленном крестном ходе из всех церквей к Александро-Невской Лавре, а от нее – к Казанскому собору. Настроение у нас у всех было довольно-таки приподнятое, бодрое и даже, пожалуй, дерзновенное.

В связи с этим крестным ходом по городу ходили самые разнообразные слухи. Говорили, что большевики его не допустят, т.е. как-либо предотвратят: тогда так еще было свободно, что ни о испрашивании разрешения у начальства на него, ни о запрещении его большевиками не могло быть и речи. Если же мы пойдем, то в нас будут стрелять из холостых орудий, чтобы возбудить панику и вызвать народное возмущение, чтобы потом как следует расправиться со всем духовенством и церковниками как бунтарями. Уверяли, что нашим крестным ходом замышляют воспользоваться политические враги большевиков и стрельбой и всякого рода провокацией направить религиозное шествие на возбуждение против большевиков. И другое многое передавалось, и все, как обычно полагается, «из самых верных источников». Мы – церковные люди – бодрились, но все-таки побаивались возможных тяжелых эксцессов. Поэтому, например, и я приготовился к участию в этом ходе исповедию...

Собрались и толкуем. Семьи не было; она уехала от начавшейся голодовки в г. Ряжск; со мной оставался лишь старший сын Павел. Часто заходил кто-либо из служащих в институте, особенно Мария, жена церковного сторожа, прислуживавшая нам при нашем питании. Вероятно, от нее прослышали мы, что в институте, как в самом здании, так и в частных квартирах служащих (а я жил на казенной квартире – Забалканский пр., № 29), идет обыск. Это известие не только нас не смутило, – так еще были мы непривычны к этому искусству жизни, – но мы даже посмеялись. Кто-то заметил, а не придут ли с обыском и к нам и как-

де отнесутся, увидев собрание. Но я, помню это хорошо, это замечание с горячей категоричностью отверг, заявив: «Зачем они пойдут в квартиру священника, – разве не ведомо всем, что священники по их духовным законам не имеют права держать у себя оружия...» И на этом мы успокоились, продолжая заниматься своим делом. Так мы были наивны в то время.

Но наивность наша скоро должна была получить практическое вразумление. Является в квартиру покойный теперь смотритель института М.Н. и твердо заявляет, что сейчас с обыском придут и ко мне. Это известие нас уже несколько смутило, – особенно моих гостей, застигнутых в чужой квартире. Но все-таки мы продолжали недоумевать, что это за обыск у священника, как, где и что «они» будут искать. Но как был стол у нас с чайной посудой и листом бумаги – набросков нашего маршрута для крестного хода, так все продолжало оставаться и теперь: убрать или замаскировать что-либо мы не думали.

Действительно, через несколько минут являются трое неизвестных с ружьями, в сопровождении нашего смотрителя, – с шумом и лязгом, в фуражках на голове. Они довольно-таки грубо и громко спрашивают у меня, как указанного им хозяина квартиры: нет ли у меня какого-либо оружия, предупреждая тут же, что если я скрою имеющееся и они его у меня найдут, то я строго и сурово буду за это наказан. Получив от меня заверения об отсутствии у меня такового, они обошли столовую и мой кабинет, поверхностно осматривая видимое, ничего не касаясь и не беря в руки. Я думал, что этим все дело и кончится. Но нет. Они поодиночке стали подходить к каждому из нас и, предложив нам в довольно деликатной форме поднять кверху руки, стали ощупывать нас, водя руками по одежде нашей, начиная сверху и донизу, и опять-таки ни в карманы наши не лазая, ни раздеться или распахнуться нам не предлагая.

Настроение во время обыска мною переживалось какое-то странное: здесь было и немало возмущения за это наглое недоверие, тут была и брезгливость при обшаривании хотя бы одежды, и смешно было смотреть на людей, занимающихся, как тогда казалось, пустяками. Но только страха или какого-либо опасения за свое положение и за последствия обыска не было нисколько. Все-таки по уходе обыскивавших мы все чувствовали себя не в своей, что называется, тарелке, и скоро мои деловые гости ушли домой, и не только потому, что задача нашего собрания была выполнена... Неловко, тяжело, обидно было за все...

Первый арест

Часть 1

Конец июля 1918 года. Я в деревне у отца, на родине, куда приехал за семьей, чтобы вместе с ней ехать в Питер. И в деревне было далеко не радостно и не спокойно. У кого-то из знакомых мужиков отобрали землю, того-то обидели в хозяйстве и т.п. С одной стороны слышатся жалобы и виднеются слезы; с другой стороны наблюдается все возрастающее нахальство, грубость, всякого рода угрозы и насилия. Непокоем и старец-отец, пятьдесят лет просвященствовавший в одном селе: ему жаль одних, горестно за других, больно же за все возрастающее в селе хулиганство, междоусобие, даже драки. «Нам все теперь позволено», «все наше», «теперь нет господ», все чаще и громче, все циничнее и разрушительнее для сельского мира раздающееся, сильно волновало старца-священника. А тут и в церкви, на его смелые и громкие проповеди о грехе всякого беззакония, на его требовательный призыв не покидать веры отцов и не вводить новых грубых прав, – послышались грубые и дерзкие, громкие замечания вроде такого: «будет тебе, отец, морочить народ...» И хотя это слышалось не от коренных сельчан, а от распропагандированных москвичей, но и они были еще не так давно духовными детьми старца-священника, и он знал, как это семя зла быстро растет и распространяется. И отец заметно страдал и, несмотря на свой крепкий, молчаливый, все в себе переживающий и таящий нрав, нередко прорывался горькими сетованиями о настоящем и вздохами о еще более печальном, быстро грядущем будущем...

При такой духовной и внешней обстановке я получаю письмо из Питера, что здесь с духовенством неспокойно: арестован и неизвестно куда отвезен вскоре после Ильина дня о. Философ Орнатский¹, что грозят и другими арестами духовенству и они в страхе стараются выехать куда-либо подальше. И делается приписка, что и для меня было бы лучше не спешить с приездом в Питер и остаться пожить в деревне, пока, быть может, все уляжется и станет безопасным.

Прочно закрепилось в моей памяти настроение мое после этого письма. Вот, подумал я, и даже высказал в семье, начинается и для нас... Что начинается, это еще не сформулировалось в определенных положениях, а тем более не представлялось в тяжелых последствиях; самое большее предполагалось – это тюрьма с возможно продолжительной высылкой. И письмо не только не смутило меня, но как-то приподняло, воодушевило, мне захотелось самому пройти через это горнило ареста. И я

даже высказал в семье, что, если будут аресты, то, конечно, мне не миновать их хотя бы потому, что я в то время был председателем Епархиального совета.

Не помню, чтобы отец или семья особенно были поражены этим письмом и открываемыми им недобрыми перспективами. Поэтому, кроме одного, мельком мне сказанного отцом совета: «А не лучше ли тебе, Миша, остаться в семье и священствовать здесь, вместо меня, хотя пока, на время», – я ни разу не слышал не только уговора, но даже и маленькой просьбы не ехать в Питер. Как было назначено, так мы и выехали, и в день Преображения Господня мы всей семьей были уже в Питере на своей казенной квартире. Да и в селе такая далеко не радостная и немирная вырисовывалась картина, что не было ничего побудительного, чтобы оставаться в селе...

В Питере пока все было видимо спокойно. Об о. Орнатском, правда, ничего не было слышно; ходили всякие слухи и даже очень печальные – будто бы расстреляли его; но им старались не верить. Других же арестов пока не было, и мы, как истые неунывающие россияне, успокоились, отдавшись своим обычным занятиям – служебным и семейным.

Не более как дней через десять начинаю слышать, что в городе стали арестовывать священников. И так приблизительно числа 18–20 августа (по ст.ст.) в воскресенье, часов в 8–9 утра, ко мне на квартиру является незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить Литургию позднюю в церковь св. Екатерины, что на Старо-Петергофском проспекте, и тем выручить прихожан ее из тяжелого положения. Здесь же передает, что в эту ночь все три их священника были арестованы и куда-то увезены и что еще тогда же арестованы священники там-то и там-то, и перечисляет мне, так что оказывается – в нашем Нарвском районе неарестованным остался лишь один я, да еще два-три монаха из Ново-Афонского подворья.

Тяжела была эта весть; но не унынием и страхом во мне она отразилась, а какой-то бессильной злобой на большевиков и решимостью им доказать, что арестами они нас не испугают. К этому присоединилось какое-то внутреннее уверение, что если меня одновременно со всеми другими не арестовали, а арестовывали не по случайному выбору, а огулом, то значит меня исключили из числа подлежащих аресту и теперь не арестуют... Я дал согласие идти и отслужить Литургию в Екатерининской церкви. И жена хотя и высказала опасение, как бы эта моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от

служения и должен идти. Быстро собрался и пошел.

Народу молящегося, помню, в церкви было немного. Испуг, навеянный большевиками за содержание веры и, тем более, за церковность, теперь, при таком массовом и активном противлении их Церкви, охватил громадное большинство наших бывших прихожан. Служил я с каким-то особенным подъемом и воодушевлением. Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать им, что нечего и не следует бояться, думая, что Христос не с нами. На эту же тему говорил и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в Церкви и прямо-таки требовали от меня духовной поддержки и подкрепления, во время проповеди многие плакали. После Литургии я заходил к семьям арестованных священников; там была полная растерянность при совершенной неизвестности о судьбе их. Домой я пришел духовно удовлетворенным, но от всего пережитого взволнованным.

В этот ли вечер, в воскресенье, или на другой день, в понедельник, было в здании бывшего Исидоровского епархиального училища собрание всех преподавателей наших духовных учебных заведений для обсуждения вопроса о начале учебных занятий при нашей действительности. По обязанности председателя Епархиального совета, был на нем и я. Конечно, это массовое изъятие духовенства было животрепещущей темой частных разговоров. Удивлялись тому, что я обойден этой «милостью» большевиков; предсказывали путь следования моим собратиям и советовали мне несколько ночей не ночевать дома.

Теперь уже выяснилось, что арестовывали не определенных личностей, а всех, кого «они» считали за врагов своих и коих нужно наказать за только что совершенное убийство Урицкого, – арестовывали буржуев и духовенство, коих находили дома во время ночных обходов по квартирам. То же самое, что и другие, мне говорил и советовал встретившийся на Невском мой бывший ученик по школе Штейнберга Юденко, и даже настойчиво предлагал идти к нему ночевать. Я упорно отказывался, шуточно ссылаясь, что раз меня помиловали большевики, меня не возьмут и теперь; а у самого была какая-то спокойная уверенность, что от Бога не уйдешь. Пришел я ночевать домой.

Спать легли спокойно. Быстро и крепко все заснули и не сразу услышали резкие звуки звонка и сильные толчки в дверь. Отпираю и у дверей на площадке вижу двоих невооруженных, мне не известных лиц, а за ними смотрителя нашего, инспектора института А.К. Павловского, его помощника М.В. Красовского и сына директора В.В. Косякова. Трое

последних, как они мне сейчас же заявили, были в положении уже арестованных. Мне был предъявлен ордер без указания в нем моей фамилии, а с общей пометкой на обыск и арест всякого. Зашли в квартиру. Начался обыск. Почему-то у меня в ту ночь не горело электричество. При начинавшемся рассвете не было особенно темно.

Помню предъявившего мне ордер: это был, заметно по фигуре и выражению лица, простоватый и добрый рабочий с фамилией Никифоров, не по дикому, неистовому фанатизму большевика, а скорее по отправлению приказания творивший свое дело. Обошел он две-три мои комнаты, спросил, нет ли у меня оружия, ни до чего не коснулся и стал выходить из квартиры. Я в недоумении и растерянности спрашиваю: «А мне – что?» – и получаю в ответ: «А Вас за что арестовывать, ложитесь спать». Все это продолжалось не более пяти-шести минут. Мои семейные не успели одеться, чтобы быть свидетелями всего происходящего, как я, заперев дверь за ушедшими, обратился к жене со словами: «Ну, вот видишь, что аресты духовенства меня не касаются, я свободен». Снова легли спать.

Не прошло и часу, не успели еще после пережитого волнения успокоиться, как слышим опять звонок. Совсем не предполагая теперь ничего недоброго и недоумевая, кто бы теперь, на рассвете, так рано мог звонить, иду отпирать дверь. Отворяю и... вижу перед собой того же самого Никифорова, но уже одного, и слышу от него какое-то растерянное требование одеваться мне и следовать за ним. «Когда я сказал, что Вас я не взял, то мне сказали, что его-то нам и надо», – как бы в оправдание своего второго визита ко мне говорит он.

Итак, значит, и меня арестовывают. Но что же это означает? Как понять и растолковать, что сразу ареста не произвели? Как будто мой арест не из особенно нужных; не недоразумение ли это какое-нибудь, которое быстро рассеется. Но с другой стороны, чьи-то слова: «А его-то нам и надо», – как будто грозны и внушительны... Однако первое, как более успокаивающее, преобладает над вторым; успокаиваю семью надеждой на скорое возвращение и иду за моим стражем.

Приводит он меня в прежний участок на 3-ей Роте, д.№ 8 или 10, вводит в узкую, но длинную комнату – арестантскую, с решеткой в одном окне и с широкой – во всю длину комнаты – деревянной настилкой для лежания, на высоте 1–1,5 аршина от пола. Тут теперь при свете уже начавшегося утра вижу своих институтских знакомцев, кроме Красовского, после допроса отпущенного домой, и некоторых других известных мне мужчин. Всех было здесь человек двадцать пять-тридцать.

Встречи и разговоры невеселые; все сводится к одному: забирают в качестве заложников за убийство Урицкого. Опасного как будто нет ничего, но и веселого совсем ничего не предвидится...

Скоро, минут тридцать-сорок спустя, ведут меня к допросу. Допрашивал молодой человек, лет около тридцати, в полувоенном одеянии, по виду из подпрапорщиков военного времени. В его вопросах не было ничего грозного, предвещающего опасность, но и ничего определенного, что бы раскрывало, хотя бы отчасти, за что и почему арестован. Допрос краткий, самый общий, и возвращение снова в арестантскую.

Не ожидал ни я, ни мои новые однокамерники этого конца. Мне все почему-то думалось, что меня на допросе же освободят; а мои товарищи по несчастью определенно заявляли, что за что же священника будут держать в тюрьме. Так в то время было сильно и живуче мнение о неприкосновенности личности священника, и это при сильно развивающейся проповеди неверия и безбожия от самых сильных и властвующих большевиков...

Камера была настолько узка, что двоим ходить по ней было нельзя: встречи были затруднительны. Поэтому приходилось или стоять, или лежать. Но и лежать на голых досках, без всякого захваченного из дома (так было у большинства из нас, в том числе и у меня) подголовья, было тяжело и больно. Хорошо было бы после бессонной ночи заснуть, но душевное волнение, при непривычном аресте, при тяжелой внутренней и внешней обстановке, не давало действия сну.

Шли разговоры, гадания, рассказы о слышанном за последние дни, гадания об ожидающем нас. После данных нам допросов все единодушно решили, что скоро нас не отпустят. Но неужели нас надолго оставят в этой конуре? Да в ней задохнешься. Но куда же нас отведут? Не в тюрьму же? Ведь мы не преступники какие-нибудь. Можно ли известить родных о нашем положении, написать им; могут ли они принести спальное белье и что-либо поесть. Все вопросы и недоумения и никакого на них ответа, тем более успокоения. А тут, где-то невдалеке, раздавались какие-то не то стоны, не то крики кого-то избиваемого или пьяного, а, может быть, и сумасшедшего.

Не помню, давали ли нам что-либо поесть или попить, как будто бы нет. Хорошо помню, что поставленный у дверей нашей камеры сторож, по просьбе некоторых из нас, приносил откуда-то холодную воду и в металлической кружке подавал для питья. Я с собой не захватил ничего ни из спального белья, ни из съедобного. Мои институтские друзья были

более предусмотрительны и усиленно угощали меня бывшими у них белым и черным хлебами в разных видах.

Русский, а, может быть, и всякий человек, находящийся в таком, можно сказать, некрасивом и стеснительном положении, бывает изворотлив и лукаво-находчив. И мы нашли скоро доступ к сердцу и милости кого-то из нашей стражи через обещание пополнить его карман и подкормить его голодающую семью. И часам к десяти-двенадцати дня стали поступать приношения к некоторым от их домашних. Появилась надежда на некоторое облегчение нашего положения. Требовалось увеличить это облегчение.

В нашей малюсенькой камере от жары и духоты нечем было дышать, а от невозможности хоть немного двигаться появились боли в ногах от стояния и в теле от лежания. Не знаю, через кого и каким образом, но все-таки добились того, что часам к трем дня нас выпустили из нашей камеры в большую комнату, напоминающую некий зал, с открытыми и без всяких решеток окнами, выходящими на 3-ю Роту. Предварительно взяли с нас слово, что мы не будем подходить к окнам и тем более разговаривать с проходящими по улице. Вот еще какое доверие было в то время к интеллигенции и буржуям! Еще не смотрели на них, – по крайней мере все из так называемых пролетариев, – как на злодеев, коих нужно мучить и казнить.

Большое удовольствие нам доставила, показавшаяся нам в то время великой, столь маленькая свобода. Еще радость увеличилась, когда стали в передней комнате, как бы прихожей перед нашим залом, появляться наши родные с приносом белья и обеда. И при этих свиданиях наши охранители относились к нам по-человечески, доверчиво. Нам не мешали разговаривать, одного лишь потребовав от нас чтобы не переходили за черту, отделяющую нас от передней, а равно и наши посетители к нам не проникали, что мы все в точности и самым добросовестным образом выполняли.

Не помню, о чем я говорил; помню, что ни у меня, ни у жены не было уныния и, тем более, страха. К тому же она и другие пришедшие с ней институтские барыни сообщили нам, что студенты института возмущены нашим арестом, что они начинают уже хлопоты о нашем освобождении, давая за нас поручительства, какие в данных случаях полагаются. Сообщили, что послана директору института Василию Антоновичу Косякову в Москву, где он в то время находился, телеграмма с извещением о случившемся и с просьбой начать хлопоты о нашем возвращении. Это нас, институтских, сильно приободрило и окрылило надеждами. Расстался

я с женой и знакомыми уверенный, что скоро снова буду дома.

Часть 2

Часов в пять дня нас опять пригнали в нашу камеру и заперли. Все мы большие эгоисты. Когда события или известия те или иные нас не касаются, мы их как бы не замечаем вовсе, они для нас как будто не существуют. Все мы и до сегодняшнего дня слышали о многочисленных арестах в связи с убийством Урицкого, но они для нас как будто не существовали. Теперь, запертые в свою камеру после свидания с родными, мы оказались погруженными в пересказ и переживания сведений с воли об этих арестах.

Многочисленность тех из них, о которых нам передали, и не меньшее число нами теперь вспомняемых, нас поразили. Стало ясно, что начался красный террор; забирают заложников; предложены к устройению концентрационные лагеря. Но только ли? И вчера на свободе мы слышали, и сегодня на свиданиях нам передавали, что многие арестованные как-то пропали, нет о них никаких сведений. Где же они? Сначала шепотком, а потом вслух стали передавать о расстрелах, об отвозе на баржах в море и потоплении там.

Вести нерадостные, и думы пошли мрачные. Невольно являлся вопрос: а что ожидает каждого из нас? В ответ на это становился другой вопрос: а кого же расстреливают? Т.е. с кем борются большевики? Кого они считают предназначенными к уничтожению своими врагами? Я-то, т.е. каждый из нас, – к какой категории принадлежу: расстреливаемых, высылаемых, запираемых, освобождаемых?

Каждый, приводя по памяти лица, с которыми, по слухам, большевики так или иначе покончили, сопоставлял себя с ними и... то уверялся, что не его класса и положения людей постигает та или иная кара большевистская, следовательно, и его, если и постигнет, то уж не расстрел, нет, быть может, и в лагерь сошлют, быть может, освободят; то как раз обратное казалось ему: именно его и нужно большевикам, его-то и уничтожат. Примеры предшественников для всех классов и категорий и с судьбой всяких исходов у каждого из нас бродили перед глазами. Все-таки преобладало бодрое настроение: один другого утешал и старался уверением другого в благополучном окончании ареста успокоить больше самого себя.

Бессонная ночь, утомление дня и все пережитое повалили нас на наши доски, и скоро мы успокоились сном. Вопрос, что с нами будет, и даже более близкий и интересный: долго ли нас продержат в этой

клетушке, когда и куда отправят, так и остался без всякого ответа. Часов в пять-шесть утра нас будят. Приказывают собрать вещи и выходить. Идем на улицу 3-ей Роты. Выстраиваемся в ряды и, окруженные небольшим – человек пять-шесть – отрядом каких-то вооруженных оборванцев, идем. Нас приводят на 10-ю Роту в большой дом, помещают в большой комнате обычного дома и оставляют под надзором одного сторожа.

Никого, кроме нас, – а нас было человек двадцать, – в комнате не было. Нередко проходили через эту комнату – очень просторную, но почти без всякой мебели для сидения – какие-то, по-видимому, занятые службой люди, все более из породы самых настоящих пролетариев, в буквальном смысле этого слова. С любопытством осматривали нас; конечно, я в своем одеянии привлекал их особенное внимание, но никто никаких замечаний и тем более бранных слов не изрыгал даже и по моему адресу. Часа через два нас опять без всяких допросов повели наверх, на второй этаж. И тут на лестнице какой-то тип в солдатской шинели обругал меня, и злобно-таки.

Во втором этаже, в комнате небольшого размера, мы нашли таких же горюнов, как и мы, ранее нас сюда приведенных. Среди них оказались знакомые мне лица. Было тесно, жарко (стоял жаркий августовский день). Пробыли мы здесь до двух-трех часов дня. Не помню за это сидение ни каких-либо разговоров, ни встреч; как будто бы все были погружены в свои думы, переживали такое состояние, когда не хочется ни с кем ни о чем говорить. Помню, что ко мне здесь все относились как-то особенно участливо и любовно. Уверяли, что со мной никакой беды случиться не может. Проникла и сюда весть, что обо мне хлопочут студенты и директор... Сидели все смирно, стеснялись даже к окну подойти...

Часа в три дня стали вызывать некоторых из сидящих. Вызвали и инспектора института проф. А.К. Павловского, через полчаса повели и меня. Вел страж с винтовкой. Проходя по коридору, я увидел В.А. Косякова и обрадовался. Ну, думаю, значит хлопоты увенчались успехом; сейчас, соблюдая формальности, меня допросят и отпустят. Поэтому почти с полным спокойствием я вошел в комнату допроса. В ней, за большим столом обычного канцелярского формата, сидели двое – один рабочий, как потом говорили, из экспедиции, другой – из нерабочих, еврей, по-видимому, из интеллигентов, лет двадцати двух-двадцати трех. Допрос с меня стал снимать председательствующий рабочий.

Первые вопросы отпечатанной на машинке анкеты были обычные: имя, фамилия и т.п., а потом шел вопрос о партийности. Когда я сказал, что я беспартийный, то молчавший доселе еврей громко и злобно заметил: «Знаем мы вашу беспартийность; вы из Союза Русского Народа –

черносотенцы». Уверенный в благоприятном для меня решении вопроса о моем выходе отсюда, я этому замечанию не придал значения.

Спокойно и совершенно по совести справедливо отрицательно ответил и на следующие вопросы о моем отношении к бывшему тогда чехословацкому с Колчаком натиску на большевиков. Ответ мой заметно добро подействовал на председательствовавшего рабочего, вообще во время всего допроса относившегося ко мне с заметным сочувствием, – до самого последнего вопроса, где мой ответ раздражил и его.

Теперь же он только переспросил меня, почему же я не сочувствую этому натиску. Еврей же, предупреждая мой ответ, с еще большей злобой изрыгнул: «Вот когда вас арестовали, вы тут и против Колчака. Врете вы все. Выпусти-ка вас на свободу, первые будете за него».

Резко и вызывающе сделанное замечание раздражающе подействовало на меня, и я отвечал и тому, и другому то, что впоследствии не раз повторял при других допросах в ответ на подобные вопросы и замечания. Я сказал, что, как русский, я знаю, что всякие иностранцы, идущие к нам с солдатами, конечно, расходуются всячески и людьми, и деньгами не из бескорыстной любви к нам; делают это, чтобы потом властвовать над русскими людьми, как над рабами, забирая отовсюду все наши естественные и культурно-художественные богатства.

Председательствовавший рабочий задал мне следующий вопрос: как я отношусь к власти большевиков. Я ответил, что признаю ее. Опять еврейчик со злобной раздражительностью высказался в том духе, что признаете-де, коли арестовали вас. Тут меня дернуло высказаться, что всякая власть от Бога, следовательно, и власть большевиков, – что и дурные власти подаются в научение и наказание или от Бога попускаются и что та или другая власть по заслугам народа. Тут опять еврейчик перебил меня замечанием: что же-де, большевики от вашего Бога, что ли? Никакого Бога они не признают. Так значит, они в наказание народу?

Заметно раздражение моего еврейчика усилилось, неприязнь ко мне росла, но я как-то оставался к ней равнодушен, хотя, как потом стало известно, я своими ответами и особенно своим разглагольствованием все более и более проваливал себя и удалял от свободы. Окончательно же я себя провалил и засадил в тюрьму своим ответом на последний вопрос анкеты: чем, я думаю, можно спасти Россию? Я искренне и безбоязненно ответил, что верой и религией.

Такой мой ответ как громом поразил большевиков. Его они уже никоим образом не ожидали; не ожидали перенесения политического допроса на религиозную почву, да еще перед ними, которые так открыто

не только отказались от религии, но всячески поносили ее и издевались над ней. Раздражился и мой рабочий.

И началась тут у нас перекрестная перестрелка-беседа: я все твердил им о христианстве как единственной силе, спасающей людей и теперь для выведения России из нестроений и бед необходимой, мне же оба мои большевика все твердили о коммунизме большевиков.

Разговор на эту тему продолжался не менее получаса. Горячились те, горячился и я. Те могли горячиться, а я позабыл, где я и с кем говорю, да еще в такой обстановке. Закончил беседу-допрос еврейчик громким приговором: «Если бы моя власть, я бы всех вас (и тут он показал руками, как бы всех нас он разорвал на клочки). Вы там на колокольнях пулеметы ставили, царя защищали, народ убивали...» И многое другое кощунственное.

В то время отовсюду можно было слышать, что на время Февральской революции на колокольнях наших церквей были поставлены, конечно, с разрешения священников, пулеметы, из которых стреляли в народ. Я доселе остался при убеждении, что этого не было, за исключением Исаакиевского собора, где, по слухам, пулеметы поставлены были еще до революции по соображениям защиты города от немцев. Эту клевету о церквях и храмах сознательно распространяли с провокационными целями враги наши. И я сам, в дни Февральской революции не раз ходивший по улицам, ничего подобного не видел и не слышал про стрельбу с колоколен из пулеметов.

Допрос кончился, и меня повели. И я чувствовал, даже, пожалуй, ясно сознавал, что меня ведут не на освобождение. Проходя по коридору, я опять увидел Василия Антоновича и услышал от него: «Ну, что же, освободили?» – но в ответ ему мог только горько улыбнуться. Перемена в моем положении произошла, но только в том, что из светлой комнаты, сравнительно с небольшим населением, меня бросили в подвальное помещение, где подобными мне врагами отечества было так набито, как в бочке с сельдями...

* * *

Мрачная комната подвала, с низким потолком, одним, уже с решеткой, окном в сад. Подневольным посельникам в ней было так тесно, что в буквальном смысле негде было сесть. Или стояли, прислонившись к стене, или полусидели на полу, один пригромоздившись или даже улегшись на другого. У стены, противоположной входной двери, было расположено нечто вроде широкого, во всю длину стены, стола наподобие тех, которые бывают у портных в их мастерских.

Первое, что бросилось мне в глаза, это примостившиеся у двери трое монахов соседнего со мной по Ротам подворья Ново-Афонского монастыря. Эти знакомые лица немного приободрили меня, тяжело пораженного такой ужасной обстановкой и еще более опечаленного таким нерадостным исходом моей надежды на освобождение. Стал искать я место, где бы мне примоститься. Но чьи-то руки подхватили меня и, толкая других, повели меня к столу, как более почетному и удобному месту тюремного жительствова.

Обитатели этой комнаты здесь были уже не первые сутки, по крайней мере, некоторые из них, поэтому появление мое к ним было прибытием нового человека, как будто бы с воли. Начались вопросы... Но что я мог сказать? Я по обычаю своему стал утешать всех надеждами на скорое освобождение, несмотря на всю безотрадность и очевидную безнадежность положения.

Я и сам все еще хотел думать о возможном своем освобождении. Мне думалось, что вот-вот вызовут меня и отпустят. Сразу не отпустили, но ведь нужно выполнить всякие формальности, не может быть, чтобы меня оставили в тюрьме, а других институтских освободили. Не освободили сегодня, освободят завтра. Эта искра надежды подогревалась еще двумя обстоятельствами.

* * *

Когда меня втолкнули в этот подвал, я застал здесь сильное возбуждение: о чем-то горячо спорили, но почти все были радостно настроены; все ждали, что освобождение всех не за горами. Оказалось, что все насельники, мои новые товарищи по несчастью, только что отправили Ленину телеграмму с выражением своих верноподданнических чувств.

Они откуда-то узнали, а может быть им здесь же сказали о том, что было покушение на жизнь Ленина, но он остался невредим. Сами ли они догадались, или извне им подсказали послать ему телеграмму с выражением возмущения по поводу покушения и своей радости по случаю избавления от смерти. Написали, подписали и ждали. Ждали прежде всего благодарственного ответа, а за ним и распоряжения об освобождении. Уверенность в том и другом была великой: как не отпустить их, если так наглядно они демонстрируют свою лояльность и даже большее.

Некоторые из них, особенно оказавшиеся радеющими обо мне, не без искренности сокрушались, что я немного запоздал появлением своим к ним в подвал, что только что они отдали со своими подписями эту телеграмму, но утешали меня, что, милуя их, помилуют и меня. Общее настроение ожидания радостного выпуска невольно отражалось и на мне,

поддерживая и даже увеличивая мое желание быть на свободе.

Второе обстоятельство. В этом подвале я застал всех сильно голодающими. Казенной пищи никакой не давали, передач никаких не разрешалось. Уныние от неизвестности своего будущего, уныние от голодного желудка. Но, не позже как через час после моего заключения в подвал, вдруг вызывают меня и передают мне пищу от жены, а потом вскоре же начинают передавать посылки и многим другим из моих новых товарищей.

Естественно, такая резкая перемена сильно подняла настроение у всех нас. Так как я был первым из таких осчастливленных, то разумеется, что счастье заключенного подвел под мысль ожидания скорого освобождения: подвал – это лишь на время, пока что-то нужно сделать по формальностям; тот факт, что не подняли наверх, откуда взяли, показывает-де, что так далеко и высоко не из чего было подымать. Мои товарищи объяснили получаемые передачи действием посланной ими телеграммы. В общем, передачи были радостными и для благополучия желудка, и для настроения духа.

Наступал вечер. Духота от скопления многих в тесном подвале доходила до дурноты и страшной головной боли. Ободренные посылками-передачами, обещавшими освобождение, посмелели и решили открыть подвальное полуокно. Оно, выходящее в сад, через повалившийся забор открывало выход на улицу 10-й Роты. На ней теснился народ – наши родные с передачами. Увидали их и некоторые из нас, увидели и они нас. Началось было показывание каждым из нас себя для удостоверения родным, что он жив и здоров. Это было весьма важно и радостно для всех наших родных, ибо по городу распространились вести о многих казнимых каждую ночь заключенных; вести эти, как оказалось потом, вполне соответствовали печальной действительности; за эту неделю расстреляна или потоплена в море не одна сотня людей.

Но недолго продолжалось это наше благополучие. Как потом узнали, наша тюрьма окружалась большим отрядом большевиков с ружьями. Эти «социалисты» не могли допустить, чтобы родные их «врагов» могли получить хоть некоторое успокоение, увидев своих дорогих хотя бы только живыми. Эти стражи, и прежде всячески стеснявшие приближение к нашей тюрьме посторонних и отгонявшие их то на противоположную от нашего дома сторону улицы, а то вдаль от дома, теперь совершенно уже погнали их прочь с улицы, – на другие улицы, грозили ружьями и выстрелами. Мы же ничего этого видеть не могли и только по внезапному исчезновению наших родных из поля зрения нашего окна мы догадывались

о происходившем на улице.

Пища несколько подкрепила. Ели все: и кому принесли, и кому не приносили. Мне была принесена какая-то жидкая каша. Я делился ею с афонскими монахами и с кем-то другим. Так как не было ни лишних ложек, ни тарелок, то ели по очереди – из одной посуды и одной ложкой.

Кроме трех афонских монахов, я запомнил из бывших здесь еще только одного – Лаврова Дмитрия Ивановича, бывшего до того времени директором 8-го реального училища, а теперь преподавателя в 74-й школе. С ним я рядом устроился у стены на столе, с ним и вел какую-то беседу, содержание которой сейчас позабыл. Других, кто там был, я не запомнил; даже тогда их как-то не разобрал. Было немало молодежи, были и пожилые; все или интеллигенция, или буржуи.

Наступила ночь. Никому не спалось: и негде было спать, и очень сильно было ожидание скорого освобождения. Часов в 10 явилось в подвал какое-то начальство, нарочито отыскав меня глазами, с издевательской усмешкой обратилось ко мне с полувопросом-полузамечанием: «Что же, большевики-то от Бога вашего? В наказание народу?» Я не постеснялся и здесь опять то же повторил, что и на допросе. Значит, моя беседа на допросе стала известна и другим.

Часов в одиннадцать-двенадцать ночи пришло опять какое-то начальство и, приказав готовиться к выходу, стало выкликать фамилии. Всех обуяло трепетное ожидание – услышит ли он свою фамилию. Едва ли было у кого-либо сомнение, что предстоит свобода. Быстро собрались и ушли. Осталось нас только четыре человека: я и старец-военный с двумя молодыми офицерами. Уходившие прощались с нами, обещая нам побывать у наших родных, уведомить их о нас и обнадеживая нас нашим скорым освобождением... Несчастные! Скоро им пришлось разочароваться, и очень тяжело и горестно. Их взяли не для свободы, а для Петропавловской крепости, откуда некоторые не увидели свободы совершенно: то ли расстреляли, то ли потопили...

* * *

Камера опустела. Свободы в помещении осталось много. И мы устроились спать в полной уверенности, что нас не потревожат. За полтора суток ареста, особенно же в этом подвале, не раз я слышал о расстрелах арестованных. Говорили даже, что расстреливают на дворе нашей тюрьмы, на 10-й Роте; будто бы по ночам слышны были из подвала ружейные выстрелы. Эти тревожные разговоры как-то меня совершенно не задевали; я все время оставался спокойным насчет своей жизни: не доверял ли я этим рассказам, или полагал себя вне возможности подпасть

под пулю, – больше, кажется, было первое. Поэтому лег спать я в безмятежном состоянии спокойствия, скоро заснул и до утра спал крепко.

Утро было ясное, солнечное. Лучи света ярко и весело прыгали по нашему подвалу. Нас все оставалось четверо. Старец оказался старым служакой бывшего Измайловского полка, заведовавшим хором измайловских певчих. Их он не раз отпускал ко мне в институтскую церковь и немного знал меня. Он был мрачен и неразговорчив. Молодые два офицера были его сыновьями, вместе с ним арестованными. О них-то он сокрушался, почему и был мрачен, а к ним любовно предупредителен и ласков. Он знал, как большевики беспощадно в то время расправлялись с молодыми офицерами, и боялся за их жизнь. Он был неразговорчив; не хотелось говорить и мне. И мы почти все время молчали, занимаясь больше хождением из угла в угол по обезлюдевшему подвалу.

Часа в два меня с вещами вызвали и повели в ту же комнату, где вчера допрашивали. Тут сидел только один вчерашний рабочий и кто-то посторонний с багажом в руках, как оказалось, помощник директора экспедиции. Смешанное чувство от ожидания свободы и от опять формального опроса. Опрос короткий и долгое, молчаливое ожидание чего-то совершающегося. Наконец, появляется какой-то тип с бумагами в руках и повелительно приглашает меня и того, другого, следовать за ним. Выходим на улицу. Усаживают нас в открытый автомобиль и везут... Итак, – конец свободе и ожиданиям ее... Но куда везут?

Едем по Измайловскому и Вознесенскому проспектам. Я все время смотрю по сторонам – не увижу ли кого-либо из знакомых на улицах; если не сумею передать что-либо, то встречный знакомец может так или иначе довести до сведения семьи, что видел меня отвозимым по таким-то улицам. Все глаза, как говорится, просмотрел, но никого не встретил. Увидал лишь идущим навстречу Колю Корнилова, в то время мальчика лет шестнадцати. Он посмотрел на меня, но, кажется, моего положения не понял, – по крайней мере, ничего и никому он потом не говорил.

Ехали мы очень быстро, как будто за нами гнались или боялись, что нас могут отбить, – стражи никакой не было; сопровождал нас лишь один «некто в сером», коему мы были вручены на 10-й Роте и который нас должен был передать где-то и кому-то. Подъехали к дому № 2 по Гороховой, въехали во двор. Я прежде никогда не бывал здесь и ничего о «Гороховой два» не слышал. Поэтому и не признавал еще хорошо, в какое страшное место привезли меня. Это была самая ужасная по тому времени Чека, не менее неприятная, чем теперешнее ГПУ.

Впервые на Гороховой

В этот первый раз на Гороховой я с моим спутником был быстро принят каким-то начальством. Оно было представлено на этот раз каким-то полуинтеллигентом, добрым и смиренным на вид, и как бы его помощником – опять евреем. Допрашивал первый. Только снова досталось мне от все время допроса молчавшего еврея. Мой допрос подходил к концу, и вполне для меня благополучно, так что допрашивающий меня в наивной простоте недоумевающе даже произнес: «Да за что вас арестовали?!» Тут-то и поднялся еврейчик. Он, вероятно, испугался, как бы меня не отпустили, к чему, по-видимому, дело клонилось и на что я получил большую надежду рассчитывать.

Минут десять он, с большим волнением и горячностью, держал речь на знакомую мне тему о пулеметах и колокольнях, о нашей защите царя, о вражде к большевикам и к народу и т.п. Я молчал, молчал и первый допрашивающий меня. Исход моего дела с ясностью определялся: русский испугался еврея; представительствовавал хотя первый, главенствовал второй; чтобы скрыть всю значимость и силу еврейства, нужно было замаскировать ее первенством русского.

Что-то написал русский, вызвал по звонку сторожа и отправил меня с ним. Долго мы с ним переходили из коридора в коридор, подымаясь все вверх, и наконец прибыли в комнату, которая именовалась в то время «камера № 65», в коей мне суждено было пробыть суток трое или четверо.

«Камера № 65» – на самом верху, довольно большая комната, заполненная стоявшими в несколько рядов, вплотную одна к другой, железными койками, с голыми досками без всяких подстилок; посредине большой длинный стол; одно большое окно с решеткой в углу камеры выходило во двор. Не только отворять его, но и близко подходить к нему строго воспрещалось. Здесь же, ступенькой только ниже, помещался обычный казенного формата умывальник и довольно просторная уборная. Она была так загрязнена и пропитана дурным запахом, что и в камере, от нее ничем не огражденной, кроме невысокой железной стенки, дышать было тяжело. К тому же и камера была так переполнена, что спали по трое на двух сдвинутых койках; спали и на столе.

Вблизи у уборной сидел вооруженный страж... помесь солдата с хулиганом по виду и русского добродушного человека по нутру своему, принужденного иногда разыгрывать из себя грозного начальника. В страже менялись люди, но описанный характерный тип их все время моего

пребывания там оставался один и тот же. Начальственность он свою выказывал только в одном случае: когда арестованные подошли к окну и начинали вглядываться в находящееся на противоположной стороне окно.

Это последнее принадлежало женской камере, в которой содержалась жена одного из наших товарищей по камере; естественно, ему хотелось видеть ее и, быть может, как-нибудь и что-нибудь ей о себе передать или о ней узнать. Тянула к окну и всех нас духота и вонь камеры от скопления людского; хотелось хоть немного щелочками окна овладеть для вдыхания свежего воздуха.

В камере меня, как и всякого новичка, встретил так называемый камерный староста, записал куда-то и показал свободную койку, койку, которую по его распоряжению покинул какой-то тип, перешедший на положение ночлежника на стороне. Дали мне для сведения и исполнения прочитать какую-то бумагу, – нечто вроде инструкции, как жить и вести себя в камере, что можно и чего нельзя.

На меня, как священника в рясе, невольно было обращено общее и продолжительное внимание. Священников в камере давно уже не было, – раньше меня прошедшие Гороховую помещались в другой камере, № 66. Началось взаимное осматривание и разглядывание. Мои сотоварищи по камере на три четверти были люди молодые, из интеллигенции и буржуазии; рабочих не помню; было несколько матросов и солдат и человек пять-шесть финляндских рыболовов, попавшихся с их рыболовными сетями не в черте своих вод нашего Финского залива. Народ все был приветливый, – сам испытывший много горького, а потому сочувственно относящийся к горю другого. Особенно близко я сошелся здесь со спутником моим из 10-й Роты и его сослуживцем по экспедиции, фамилий обоих не запомнил. Они оба были очень больны душой, унылы и скучны.

У первого, уже старца, осталась дома больная, одинокая старушка-жена, – без всяких средств к жизни; и это сильно сокрушало его. У второго совместно с ним была арестована и жена (детей не было), оказавшаяся здесь же на Гороховой, в женской камере, и при обыске была отобрана какая-то переписка на английском языке: не то жена его была англичанка, не то она знала хорошо английский язык и имела в Англии друзей. Вот это обстоятельство и страшило моего нового друга; он уже знал, как по одним даже слухам о каких-либо сношениях с заграницей, особенно с англичанами, у нас отправляли к отцам на тот свет.

Близко, душевно подходил ко мне некто Кудрин, бывший морской доктор. По его словам, его ожидал расстрел, но он не боялся, ибо

находился на последней стадии развития чахотки. Человек мнительный и ото всех отъединяющийся, он и мне постоянно и настойчиво советовал не сходить ни с кем в тюрьме, не доверяться никому, – много-де здесь провокаторов всякого рода. Доктора Кудрина действительно расстреляли, взяв его с Гороховой вскоре после моего ухода из нее.

Кажется, в первый же вечер моего пребывания в камере № 65 меня вместе с некоторыми другими вызвали к фотографу: требовалось в альбом всяких преступных типов вклеить и мою физиономию. Провели нас через камеру № 66, где тоже было переполнено; никого из знакомых там не встретил. Привели в особливую комнату. Фотограф обращался с каждым из нас любезно и весьма внимательно, и усердно относясь к своему делу, как будто он был в своей фотографии и к нему пришли его заказчики. Снял с нас по две карточки, сажая нас и прямо, и боком. Развлечение, но тяжелое.

Другое отвлечение от дум тюрьмы: привели кого-то из Петропавловки. Его, конечно, сейчас же окружили. Нерадостное, тяжелое сообщил он о ней. Сидит очень много; камеры переполнены; духота до дурноты со многими; стража грубая и суровая; каждую ночь берут для расстрела или для отправки в Кронштадт – тоже не для радости; питание плохое, передач не позволяют. Можно себе представить, какое смущение, уныние и прямо-таки ужас охватил всех нас. Куда-никуда, только бы не в Петропавловку. Все хорошо по данным прежних дней знали, что на Гороховой долго не оставляют, и у каждого из нас стоял вопрос: куда же меня...

Не припомню, чем публика занималась в камере № 65, кажется, только разговорами о том, что предстоит, и переживанием собственных дум. Громадное большинство не знало, за что были арестованы; поэтому не было и обдумываний причин ареста и собственной вины. Не было книг, не было и чтения. Ввиду отсутствия передач все с нетерпением ждали обеда и ужина. Подавали лишь одно хлебово – что-то вроде супа из чечевицы с запахом селедки – и кусок хлеба. Все ели одновременно – из больших мисок по семь человек, за большим столом, на котором по ночам спали. Вкусным и аппетитным была блюдом эта бурда в том голодном положении.

Кажется, дня два-три на этот раз пробыл я на Гороховой. Я уже не мечтал об освобождении, а лишь боялся, что пошлют в Петропавловку. Мысли о том, что меня могут взять для расстрела, у меня совершенно не было, может быть, потому, что за мое время никого оттуда не расстреляли. С большою поэтому радостью встретил я и некоторые другие, когда нам

объявили, вызвав по списку, об отправлении нас в Дерябинскую тюрьму.

Собрались мы скоро. Повели нас на двор; выстроили в ряды и заставили ждать. Ждали около часа. За это время подсылали нам спутников из других камер, так что образовался отряд человек в сорок-пятьдесят. Выводили и женщин, скорее мимо нас проводили куда-то в другое место. Наконец, явилось какое-то начальство, окружил нас изрядный отряд солдат того времени.

Начальство – высокого роста, с внушительной фигурой, грубо и резко преподало нам напутственное наставление: идти смирно рядами, дорогой ни с кем не переговариваться, никому ничего не передавать и ни о чем не спрашивать, а тем более не делать попыток к бегству: сейчас же его – бегуна – пристрелят. Такое приказание – стрелять в бегущего – было тут же повторено и окружившим нас солдатам. Скомандовал – «марш!», и мы пошли.

Шли мы по улицам Васильевского Острова, для меня совершенно незнакомым, путеводители наши заметно избегали людных улиц. Было часов около семи-восьми вечера; народ шел ко всеобщей; была суббота. Значит, я был почти уже целую неделю арестован. Стражи наши оказались людьми добрыми. Так, было дозволено двум-трем из нас, выйдя из рядов, добежать до почтового ящика, бросить в него заранее приготовленное письмо. Одному очень обессилевшему было разрешено взять извозчика и ехать с одним солдатом отдельно от нас в Дерябинскую тюрьму.

Дерябинская тюрьма

Часть 1

Это концентрационный лагерь, помещавшийся в августе-сентябре 1918года в Дерябинских бывших морских казармах, расположенных на Васильевском Острове, на самом берегу моря. Место, ими занимаемое, одно из самых лучших. Прекрасные морские дали с плавающими по ним шлюпками, лодочками, пароходами и т.п. При сильном ветре – величественная картина бурных волн; в тихий вечер – удивительно прекрасный вид на закат солнца. Сколько раз приходилось любоваться из окна нашей камеры на то и другое, особенно на вечернюю зарю. Какая роскошная, замечательно привлекательная картина; глаз не отрывая от нее, стояли мы целыми вечерами у окон камеры, забывая все. Тут только я понял, что значит так называемая Стрелка, куда собиралась в былые дни петербургская знать, чтобы любоваться на эту картину.

Не раз приходилось наблюдать полеты гидропланов, с нередкими посадками их на воду буквально под окнами тюрьмы, – на расстоянии каких-нибудь пятидесяти-ста сажень от нас. Однажды недели две стояла недалеко от тюрьмы баржа с дровами и копошащимися на ней рабочими. И это было радостно наблюдать.

* * *

Дерябинка в мое сидение в ней представляла из себя до десяти-двенадцати отдельных камер, каждая от семидесяти до ста пятидесяти человек, – это норма. Но чаще бывало наполнение каждой камеры двойным комплектом, так что спали по трое на двух кроватях, на полу, на столах. Несмотря на разнокалиберность населения нашей камеры (№ 7) и на сильную уплотняемость ее по временам, меня ни разу не трогали с моей койки в самом углу; а когда какой-то начальственный тип было однажды вздумал меня снять с моей кровати, то за меня заступились сокамерники, потеснившись сами, меня ж оставили при прежнем положении.

Камеры были открыты, и можно было, хотя и не для всех, свободно выходить во двор и уходить в другие камеры. Этой возможностью часто пользовался я и нередко – почти каждый день – ходил в камеру, где помещался протоиерей Алексей Никитич Ливанский из Мариенбурга (теперь обновленческий настоятель Алексеевской церкви). При этой камере было нечто вроде широкого коридора или узкого, но длинного зала; там было очень удобно гулять; а это, при невозможности в своей камере размять ноги за теснотой, было очень приятно и полезно. Здесь же

происходили новые знакомства, обмен новостями, впечатлениями, слухами; тут же можно было достать и почитать газетку.

Населена Дерябинка была все «врагами отечества», т.е. большевиков; это были бывшие люди – из интеллигенции, молодых и старых офицеров, купцов, чиновников. Только одна камера была наполнена исключительно уголовным элементом; она всегда была на запоре, и мы с ней не имели почти никакого общения; из нее к нам приходили только по указанию начальства уборщики, нами оплачиваемые. Впрочем, в нашей камере было человек пять-шесть крестьян из Ямбургского уезда, обвинявшихся в каком-то противлении властям.

За множеством насельников (ни разу не было меньше семидесяти пяти) и за частым отливом одних, приливом других, я знал в камере только немногих: с кем так или иначе приходилось сталкиваться. С одним из них завязалась дружба, продолжающаяся и теперь. Это Анатолий Федосеевич Марков, бывший управляющий трамвайными парками, директор и пайщик двух больших заводов, горный инженер. Он держал себя одиноко и независимо, чаще всего пребывал у своей койки, читал, играл в шашки; не помню, чтобы он принимал какое-нибудь участие в общественных разговорах, в обсуждении каких-либо событий или начинаний; получая хорошие передачи от семейных, он нередко угощал меня, всякий раз предупреждая меня не доверяться в тюрьме людям, быть осторожным в словах и поступках.

Особенно близко я сошелся с двумя соседями по койке; они были те самые, с которыми я сошелся еще на Гороховой и о которых уже упоминал, – служащие из экспедиции. С ними разговоры были о домашних и церковных делах, на политические и общественные темы; жили мы втроем по-семейному, – из одной чашки и питались, друг с другом всем делились. Тот, у которого была арестована и жена, очень сильно нервничал и унывал, нам часто приходилось его утешать, развлекать; а мне, ввиду его некоторой религиозности, занимать и религиозными беседами. Бедный человек, в конце моего пребывания в Дерябинке он сильно заболел, у него оказалась чахотка, и он, как мне потом передавали, недолго прожил и умер, кажется, на свободе.

К нам часто подходил Кутлер Н.Н., бывший министр земледелия. Он, по его словам, уже в третий раз был арестованным. И это третье свое заключение он считал последним; в этом отношении он был суеверен при недостаточной его религиозности, и третье считал за последнее. Он ждал расстрела, и в мысли об этом печальном конце он так себя уверил, что о другом исходе для себя он и думать не мог. Заключение это,

действительно, было последним: он по выходе из тюрьмы занимал у большевиков видное место по укреплению нашего червонца, был главным членом банка и умер с год тому назад, оплакиваемый большевиками.

В Дерябинке он был очень мрачным, пожалуй, самым мрачным и печальным из всех мне знакомых там лиц; он был постоянно мрачен; я его ни разу не видел улыбающимся. Даже когда он успевал в шахматной игре, до которой был большой охотник и играл с большим искусством, или расходился в споре, он оставался все тем же; сидя в нашем углу, в компании трех-четырех как бы своих людей, он и здесь никогда не говорил о своей прежней деятельности в министерстве или кадетской партии, коей он большим был работником, – очень спорил по каким-нибудь отвлеченным финансовым вопросам или социально-политическим вопросам, избегая всяких конкретностей. У меня с ним ни разу не было доброй душевной беседы.

По другую сторону от меня были койки Бессоновых – отца и сына. Отец лет шестидесяти пяти, профессор Военно-Юридической Академии, сын – молодой офицер с университетским образованием. Тяжелая семья; это какое-то уродство, полнейшая аномалия семейной жизни. Отец и сын в буквальном смысле ненавидели друг друга; постоянно ссорились, бранились, обзывая один другого самыми гаденькими и низкими словечками. И это они делали не стесняясь никого из камеры. Не обошлось ни одной полученной ими передачи без брани и попреков, так что в конце концов их родные стали передавать им посылки отдельно; но и тут они подозревали один другого в утайках, получении не своих передач, даже в воровстве.

Однажды старику отцу пришлось угодить в карцер, и сын не только не высказал хотя бы по видимости и приличия ради сожаления – он злорадствовал. Вражда между ними настолько усилилась, что сын стал грозить отцу побоями, и пришлось уговорить старика подальше поселиться от сына, поменявшись с кем-то койками. Никто из нас не мог понять ни психологии этих родных, ни причин такой ужасной ненормальности. Кажется, больше был виноват сын; он проявлял себя и в общей-то жизни нашей большим эгоистом, жестоким и дерзким грубияном, не дававшим спуска никому.

Группа гостинодворских торговцев – Волхонский, Мохов и два брата-старообрядца. Волхонский и Мохов были центром и главными виновниками наших ежедневных и праздничных служб, о чем потом. Волхонский был большой любитель-художник. Очень недурно рисовал с натуры. И его обычно можно было видеть с кистью в руках. От него у меня

по сей час сохранилась не законченная им картина нашего собрания за молитвой в камере. Волхонский, Мохов и, особенно, братья-старообрядцы любили побеседовать на религиозные темы и по церковным вопросам. Волхонский же, как давний прихожанин Казанского собора и член приходского совета его, не раз рассказывал мне о жизни, делах и непорядках в нем.

Врезались в памяти моей два брата, молодых офицера, привезенных из Тверской губернии. Страшное горе постигло старшего из них. Его молодая жена ко дню его ареста находилась накануне первых родов, и арест его так сильно поразил ее, что она упала замертво. Напрасно муж-офицер просил арестовывавших его повременить с уводом его, пока жена не придет в себя, чтобы можно было бы оказать ей какую-нибудь, быть может, и медицинскую, помощь; но люди-звери только насмеялись над ним. И странствовал он из тюрьмы в тюрьму, ничего не зная о положении своей заметно горячо любимой семьи. Можно себе представить его душевные переживания!

И вот в Дерябинке он получил от кого-то телеграфное извещение, что жена его умерла. Молодой человек, не раз на войне и во время революции стоявший перед смертью, не выдержал и разрыдался. Общее сожаление к нему выразилось в советах предпринять то-то, поступить так-то, чтобы добиться разрешения под всяческим конвоем съездить на похороны жены. Непосредственное начальство Дерябинки снизошло к нему своим сочувствием, доставило ему необходимое для письменных хлопот и даже обнадежило. Прождал он дня два и получил отказ. Не раз я доселе с ним беседовал о его душевных тяготах, и тут немало отговорил с ним, успокаивая и ободряя его. Поникшим, сраженным и убитым он жил в Дерябинке; в таком же положении оставил его я, уходя сам из нее.

Не могу не вспомнить об Оппеле Николае Александровиче или Александре Николаевиче (не помню). Он всегда выглядел добродушным, веселым, энергичным; все что-либо придумывал, предпринимал. И когда в конце сентября предложено было желающим отправиться на работы по тюрьме, он первый вызвался и увлек за собой других. Не струсил, по крайней мере, не обнаружил он испуга, когда с запугиваниями всякими, с угрозами, при таинственно-мрачной обстановке стали отправлять некоторых, в том числе и его, куда-то, как оказалось потом – в порт, на разгрузку какого-то корабля с углем.

* * *

Общее настроение и душевное состояние всех дерябинцев того времени можно охарактеризовать одним словом – испуг. С испугом мы

пришли в Дерябинку, с ним все время и жили здесь. Боялись, что нас расстреляют, что отправят в Петропавловку на мучение, перевезут в Кронштадт на терзание и измывательство матросов, а, быть может, и потопят в море. Всякий слух об этом принимался на веру, как несомненно данное; всякое событие или с воли принесенное известие с каким-то иногда сладострастием растолковывалось в одну сторону; всякую угрозу считали как бы уже реализованным фактом.

А действительность придавала жару именно в эту сторону – укрепления и увеличения этого испуга. На второй или третий день прихода нашей партии в Дерябинку мы прочитали в газете длинный список фамилий лиц, взятых большевиками в заложники и уготованных в концентрационные лагеря в отдаленных местах, это все лица подобные нам, общего с нами класса и положения.

Едва ли не каждый вечер, на переключке по проверке наличности нашей, кто-либо из начальства нашего сообщал нам, что ныне вечером припожалует какая-то большая большевистская персона, зачем – неизвестно. И вот начались гадания и предположения, и, конечно, самые мрачные и тяжелые. Не помню, приезжала ли эта персона или нет. Быть может она и являлась в канцелярию.

Еще случай, бывший в конце сентября (по нов.ст.). Слышим какое-то волнение среди нашей стражи, переговоры и шепоты. Естественно, настораживаемся все мы. Подходит вечерняя переключка. Является наше тюремное начальство и еще кто-то из высшего начальства – мальчишка лет двадцати пяти, с насмешливо-издевательским выражением всей его фигуры, полурбочего-полухулигана. Нас, выстроенных в ряд по порядку наших коек, обходит он раз, внимательно и насмешливо обводя каждого из нас глазами, обходит другой раз, с еще, кажется, большим вниманием. Наконец, тыкая пальцем в некоторых, по преимуществу молодых, приказывает им выйти из рядов в сторонку. Все это проделывается медленно, таинственно, как бы некое священнодействие творится. Что переживали мы в то время – трудно себе представить; самое мрачное и страшное рисовалось нам, запуганным и загнанным безличностям! Раздается наконец приказ завтра утром выделенным лицам быть готовыми отправиться, – куда, зачем? – Об этом ни слова. Одно лишь как-то успокаивающе действовало на них: не было приказано им забирать с собою вещи, – а это был недурной знак.

Плохо спалось в эту ночь нам: думалось, сегодня берут одних, завтра возьмут других; еще тяжелее и кошмарнее сон был у тех. Рано все проснулись, а те и приготавились, закусив и одевшись по-дорожному.

Ждем час, другой, третий. Никто не является и никуда не везут. Немного отлегло на душе. А днем из канцелярии потекли успокоения: что ничего страшного нет, что, кажется, возьмут кого-то из нас на какие-то работы – тяжелые и грязные. Но что значили самые тяжелые работы для ждавших себе расстрела или потопления?

На другое только утро, теперь без всякого повторного предупреждения, взяли человек десять на работы в порту, и вечером их доставили обратно в Дерябинку – довольных и веселых: хоть работа на разгрузке какой-то баржи и тяжела, и грязна была, но они были почти как свободные люди, их там недурно покормили и дали с собой по банке каких-то консервов и краюхе хлеба. И зачем другим было так таинственно-пугливо окружать эту посылку на работу, как не затем, чтобы посильнее поугатать и без того униженных и оскорбленных людей, показать над ними свою власть, – просто, чтобы поиздеваться над нами.

Еще случай. Начальство объявило нам вдруг, чтобы все мы были готовы отправиться куда-то, – а куда? – опять не говорят. Только канцелярия оповестила нас, что нас решено отправить в Кронштадт или в Петропавловку: требуется-де разгрузить Дерябинку для других, ввиду больших каких-то новых арестов. Волнения, трепет и сборы. А так как не сказано было, что всех отправят, то поэтому каждый гадал о себе, оставят его здесь или отправят куда-либо. Некоторые из нервничающей молодежи даже приготовили и связали свои вещи. Но опять только было пугание, показание своей власти. Никого не потревожили, все остались на своих местах. Это было в начале сентября.

Не могу не отметить, что волнений, боязливых ожиданий, даже трусости больше всех обнаруживала интеллигентная часть Дерябинки, и, в частности, офицерская молодежь. Конечно, ее сильно преследовали большевики, но и другим немало доставалось. А офицерской молодежи, казалось, по самому своему солдатскому званию, надо было бы быть готовой к смерти; а она-то больше всех и боялась ее. Иногда даже досадно было на это смотреть и слушать их.

Мне все, в частности и молодежь эта, доверяли свои страхи и опасения; ко мне прибегали советоваться и искать уверения, что ничего страшного нет и не будет, или, по крайней мере, нас не касается. Моя койка, удобно скрытая от любопытных глаз в углу камеры, была местом, куда притекали все унывающие, скучающие, испуганные и просто вопросами веры интересующиеся. Едва ли не каждый день у меня кто-либо сидел или со мной разговаривал; приходили даже из других камер.

Поистине, Бог премудро все творит, и, когда вздумает кого наказать –

отнимет разум. Большевики первым делом в свое владычествование на Руси позакрывали так называемые домовые церкви, изгнали из учреждений духовенство, – в том числе и из тюрем. Но если где взывают к Богу и требуют от Него помощи и утешения, так именно в тюрьмах, и тем более в то кошмарное от красного террора время. Священник в тюрьме для всех друг, близкий человек, утешитель и советник, к которому удобно нестеснительно подойти и не опасно со всей искренностью открыть душевную боль.

Изгнали нас большевики из тюрем в одну дверь, впустили в другую. Пусть эта дверь была дверью тюремного заключения, и священник входил в нее в положении арестанта. Это было даже тем лучше: он не отделялся от других и не возвышался над прочими, а был таким же арестованным; он там был не отправляющим свое пастырствование по исполнению формальных обязанностей, а равноправным со всеми, бесправным, гонимым и преследуемым; он, страдающий наряду с другими, поистине мог лучше сострадать другим.

Не раз и не в одной я сидел в тюрьме – и всюду встречался именно радостно, как нужный и полезный человек; всюду пользовался вниманием, услугами; всюду ко мне обращались, как и в Дерябинке; всюду приходилось мне и в арестантском положении отправлять пастырское попечение о страждущих. Даже так называемая шпана, с которой приходилось близко сталкиваться во 2-м исправдоме в 1922–23 гг., чувствовала в нас, священниках, друзей и помощников себе и почти не изрыгала никогда ругательств или насмешек на нас, а даже защищала нас.

Это Господь так устроил, что нас, священников, сажали по тюрьмам, гоняли по разным северам, югам и востокам. С одной стороны, это было искуплением вины нашей и отцов наших перед народом и перед христианством за многие наши прегрешения перед ними, а с другой стороны – мы необходимы были для заключенных, ибо в тюрьме без священника тяжело. Что бы в Дерябинке нашей ни произошло, какие бы тревожные слухи ни получались, сейчас же подходило ко мне по несколько человек, или маленькими группами, или поодиночке, чтобы вместе пережить, обдумать и утешиться. А сколько я выслушал плача и стенания о личном горе от сокамерников!

Хорошо помню такую мелочь, но характерную. Куда-то нас решили послать на работу, – кажется, носить дрова с баржи на берег, это уже в октябре. Кто-то подходит ко мне и, увидев меня собирающимся, удивленно и радостно произносит: «И Вы, батюшка, с нами?! Ну, значит, тужить нечего». Главным же образом в Дерябинке я был нужен для

МОЛИТВЫ.

Часть 2

В Дерябинке в нашей камере сохранился не снятым большого формата образ святителя Николая. Он стоял у стены посредине камеры, и с первых же дней нашего пребывания был взят в особое попечение группой торговцев Гостиного Двора, – особенно братьями-старообрядцами. Какими-то путями доставали лампадное масло и поддерживали неугасимый огонек в лампадке. К праздничным службам добывали церковные свечи и ставили их у иконы: бывало по-праздничному. Не только верующие, но и безбожники, – не только русские, но и евреи (их было в камере человек с пять, не более) – с благоговением относились к иконе и всегда горячей при ней лампаде, и ни разу никто не позволил не только кощунства, но даже неблагоговейного отношения к этой нашей святыне.

У нас у всех как-то утвердилось мнение, что, пока икона со светящейся лампадой с нами, нас святитель сохранит и заступится; но не помилует он и того, кто кощунственно коснется и, тем более, погасит огонь. И тюремное начальство, каждодневно утром и вечером проходившее мимо иконы, старалось показывать вид, что оно не замечает иконы и огонька. Только так приблизительно за неделю до моего выхода из Дерябинки, рано утром, подходит к моей койке один из братьев-старообрядцев и нервно-взволнованно сообщает, что в эту минувшую ночь начальник Дерябинки, проходя по камере, ни с того ни с сего подошел к иконе и погасил в лампадке огонек.

Смотрю по сторонам вдаль в направлении к иконе и вижу кучки нервно рассуждающих людей. Единогласно решили опять возжигать огонек. Действительно, через два-три дня это начальство было смещено, посажено в тюрьму и будто бы расстреляно за какие-то служебные проступки. Это обстоятельство произвело сильное впечатление даже на неверующих.

Молиться перед иконой все вместе, так сказать церковью, мы начали по инициативе самих богомольцев. Вскоре же по переселении нашем в эту камеру подходят ко мне двое-трое и говорят: нельзя ли нам в субботу под воскресенье собраться и по-праздничному помолиться. Я обрадовался этому предложению. Со мной было Евангелие с Псалтирью на русском языке, и только. Но из переговоров с другими узнали, что есть у нас в камере чтецы и певцы церковные, может организоваться даже маленький хорик. И в субботу мы начали всенощную.

Почти полностью отправляли ее. Только, конечно, стихиры никакие не выпевали, а лишь один стих: «Господи воззвах». В канон пели «Отверзу уста моя...» Шестопсалмие и кафизмы читали по-русски. Отправили службу на славу. Чтецы и певцы оказались недурные – опытные. На другой день – в воскресенье совершили обедницу, опять с чтением Апостола и Евангелия по-русски.

Русское чтение всего того, что прежде обычно выслушивалось моими богомольцами в славянском чтении произвело на них сильное впечатление: они прежде всего в нем все поняли, и понятое прошло в сознание и коснулось сердца, а сердце – исстрадавшееся и измученное – было открыто для слов, призывающих всех труждающихся и обремененных к успокоению с возложением надежды на Господа. После богослужения все чувствовали себя легко и умиротворенно. Многие подходили ко мне и говорили: «Почему это, батюшка, все ныне за службой было понятно? Вероятно, вы как-нибудь особенно читали?» Понятно же было оттого, что читались Псалтирь и Евангелие с Апостолом по-русски, на родном понятном языке. Я объяснил это. «Вот бы в церквах у нас всегда так читали: все бы мы ходили», – отвечали мне.

Это неожиданное открытие явилось для меня, казалось мне тогда, наилучшим подтверждением моего тогдашнего мнения о необходимости совершать богослужение на русском языке. На эту тему мы и поговорили тогда немало. Но недолго мне пришлось пребывать в этом приятном мнении.

Начатые однажды наши праздничные богослужения мы стали совершать каждый праздничный день. Ободренный успехом начатого дела, я выписал из дома кое-какие богослужебные книжки со славянским текстом всенощных чтений и Новый Завет на славянском языке. После трех-четырех богослужений с русским чтением я провел богослужение на славянском языке с совершением его теми же чтецами и певцами. И смотрю: мои богомольцы в полном восторге и недоумевающе любопытствуют, отчего это нынешняя служба еще лучше и торжественнее прошла: все было по-прежнему понятно, но как-то иначе читалось – складнее, величественнее, – те же как будто слова, но иначе прочитанные.

Произошло же только следующее: незнакомство со славянским языком делает непонятным и неинтересным наше богослужение; когда же я был вынужден совершить его в Дерябинке на русском языке, оно было ясно и правильно воспринято, стало знакомо содержание богослужения; а поэтому, когда снова по-славянски читали, то содержание было уже знакомо, а выражение в славянском языке делало чтение более

гармоничным, звучным, величественным, и показалось, естественно, более торжественным.

Славянский язык своею особой стройностью, звучностью и выпуклостью передает не только мысль ярче и определеннее, но музыкальнее звучит и придает богослужению особую прелесть, праздничность. Русский язык грубоват, жесток для слуха, дает много слов для выражения одной мысли; к тому же он своей обыденной постоянностью не способен дать отвлечение от будничного настроения и сообщить, увеличить праздник. Праздник, чтобы ему быть действительно праздником, требует не только праздничной одежды для тела, но праздничного облачения и для мыслей, и для настроения. Тут тяжелые будни с их заботами, тяготами, горестями и бедами забываются, и человек уносится в сферу инобытия – прекрасного, радостного, мирного и спокойного. Особый стиль требовался для поэтических произведений; особый язык требуется и для богослужебной поэзии – этой лирики души.

Так тюремное богослужение с переменой славянского чтения на русское и обратно – русского на славянское – отклонило меня от прежних суждений о русском языке в нем: не переменять, а растолковывать нужно славянский язык.

Наряду с праздничным богослужением стали устраивать ежедневные утренние и вечерние общекамерные молитвы пред иконой. Обычно после проверки кто-либо из наших богомольцев громко, на всю камеру, выкрикивал: «На молитву собирайтесь», и один за другим собиралось от тридцати до сотни человек. Я читал несколько молитв, общеизвестные из них пелись всеми, читалось дневное Евангелие, из него я делал вывод – приложение к нашему положению, и благословлял – чаще всего всех поодиночке или, реже, общим благословением.

Как во время ежедневных молитв, так и праздничных богослужений, как бы они долго ни продолжались, в камере устанавливалась общая тишина; шумные разговоры, споры и, тем более, песни совершенно прекращались. Те, кто не участвовали в молитве – сидели или лежали на койках за чтением или за тихой беседой. Ни одного случая нарушения нашей молитвы чем-либо непристойным я не помню.

Начальство Дерябинки, конечно, знало о наших богослужениях, ибо знала о них вся тюрьма, и из некоторых камер приходили к нам под праздники и посторонние, но показывало оно вид неведения и незамечания. Надзиратели же, нас охраняющие, иногда даже предупреждали нас о неожиданном несвоевременном прибытии в камеру к нам кого-либо из начальства. Сторонкой же, через канцелярских

работников или через надзирателей, начальство нас нередко попугивало за моления; меня грозило упечь в Петропавловку или отправить в Кронштадт, икону снять, а богомольцев, коих застанет за молитвой, посадить в карцер.

Хотя эти угрозы всерьез не принимались, тем не менее, меры предосторожности всегда предпринимались. Молитву и службу всегда совершали после переключки. Предварительно высматривали и осведомлялись у надзирателей, далеко ли ушло от нашей камеры начальство. Иногда даже ставили у входных дверей камеры свою собственную стражу. Пение за службой чаще всего было тихое, вполголоса. Было два или три момента, когда начальство наше почему-то особенно резко и настойчиво начинало угрожать нам за молитвы, ругая всячески меня. Некоторые из более трусливых, кои всегда оказывались из интеллигентного чиновничества и молодежи офицерской, даже на время прекращали являться на молитву, но молитва ни разу не прерывалась до самого дня моего выхода из Дерябинки.

Молитва не только доставляла религиозное утешение и успокаивала тревожную душу, но и вносила разнообразие и даже развлечение в нашу монотонную жизнь. Каждый день все одно и то же: те же лица и те же разговоры. Та половина камеры, где я лежал, так устойчива была в своих жителях, что за все время моего пребывания в ней переменилось не более десяти-одиннадцати человек, и то – к концу моего жительствова. Сравнительно частые перемены бывали в другой половине, куда я редко проникал. День проходил сравнительно спокойно, а начавшиеся длинные вечера тяготили и своим полумраком при редких лампах, затруднявшим чтение, и всякими слухами и ожиданиями, к вечеру обычно сгущавшимися, и тьмой неизвестности надвигавшейся ночи, когда из тюрьмы, хоть и редко, а все-таки брали и неведомо куда отправляли. К октябрю было решили начать по вечерам беседы с докладами на определенные темы, но тут вышло строгое приказание не собираться кучками в одном месте.

* * *

Самым радостным в жизни всех нас были дни передач. Таких дней, помнится, было два в неделю. Накануне дня передач мы должны бывали собрать все отсылаемое обратно домой, крепко завязать, прищипив или как-нибудь привязав и маленькую записочку с самым общим сообщением о своем житье-бытье, с перечнем посылаемого и с указанием желательного получить. Эту посылку нужно было отнести наверх, в другую комнату, где староста нашей камеры или от него уполномоченное лицо принимало наши посылки и ставило их в определенное, для каждой камеры

собственное, место. Предполагался, а иногда и действительно происходил осмотр наших посылок надзирателями тюремными, а чаще всего самими же заключенными, на то от начальства доверенными.

На другой день теми же лицами от наших родных принимались передачи и, по просмотре их – нет ли в них чего-либо недозволенного, особенно писем, избегающих цензуру, – передавались нам. Помнится, не особенно ревностно цензура относилась к просмотру как от нас отправляемых, так и нам передаваемых передач; письма без цензуры проходили довольно часто. Передачи мне не были изящны и изысканны, но обильны и сытны, и я мог делиться с неимущими – особенно из других камер, где были не в малом количестве привезенные из провинции. За последние недели две кто-то неизвестный, как потом я узнал – купец Языков, приказал присылать на мое имя большие корзины, штук по сотне в каждой, прекрасных сельдей. Я, разумеется, раздавал их по камере; однажды смог несколько из них отослать даже домой из тюрьмы.

Для некоторых была развлечением игра в карты на деньги. У нас в камере она мало наблюдалась; в соседней камере ее любили многие; туда ради нее ходили некоторые и из нашей камеры. Ею стал было увлекаться один из бывших в той камере батюшек, архимандрит. На него обратили с этой стороны внимание некоторые из церковников и просили меня воздействовать на него, ибо он-де производит большой соблазн для одних и служит мишенью издевательств для других. Я говорил с ним, и он действительно прекратил игру, «игру от скуки», как он говорил.

* * *

Был в нашей камере один молодой человек, по-видимому, со средним образованием, преданный до фанатизма языку эсперанто. Он его пропагандировал с величайшей настойчивостью и удивительным долготерпением. С кем он ни говорил, он пропагандировал свой язык. Вошло в посмешище самое это эсперанто, да и он сам был предметом частых смешков и даже небольших издевательств. А он ничего этого не замечал и творил свое дело. Он добился даже разрешения на право сделать в нашей камере официальный доклад-беседу об эсперанто. Доклад превратился в веселое времяпрепровождение с шутками и остротами.

В начале октября был втиснут в нашу камеру Абрамов, известный прянишник с Литейного, до революции большой критик и желчно-раздражительный пробиратель всего нашего церковного уклада с точки зрения общесектантской. И в Дерябинке он не успокаивался и постоянно толковал со мной и с некоторыми церковниками о том, что и как, и почему у нас дурно и что и как надо исправить и устроить. Редко он сидел

на месте: все суетился, бегал от койки к койке, толковал и пропагандировал свое. С ним в наш церковный мирок было внесено беспокойство и раздражение против него... Бедный человек! Его большевики расстреляли. Вот уж совершенно напрасно: он был совершенно ни для кого не опасный болтун, просто беспокойный человек.

Из духовных лиц одновременно со мной сидели, кроме о. Феодосия Алмазова, с которым я почти совершенно не разговаривал, еще и о. Алексей Ливанский из Мариенбурга. Этот общительный и любезный собеседник, услужливый сотоварищ, большую услугу оказывал мне тем, что давал мне возможность приобщиться хотя изредка имевшимися у него запасными Дарами; исповедовали мы с ним один другого. Он много рассказывал о своей жизни и работе в качестве плававшего на корабле военного священника. В камере и в тюрьме он держал себя в стороне, незаметно: выявление им себя, как священника, ему казалось опасным, почему и меня он нередко останавливал и предупреждал. В Дерябинку он попал несколько раньше моего; вышли из нее мы с ним в один вечер.

Был еще священник из с. Ополье Ямбургского уезда о. Гавриил Семеновский. Он мыкался по тюрьмам, кажется, с июня месяца; много потерпел и много пострадал. Посажен был что-то в связи с утайкой им будто бы чего-то из своего хозяйственного обихода во время реквизиции. Он держал себя в тюрьме как светский человек, и его, в штатской одежде, редко кто знал, как священника. Он был тоже в другой камере, с очень серым и неинтеллигентным населением, и нередко заходил ко мне побеседовать. Он чаще всего рассказывал о своем житье-бытье в деревне, о причинах и подробностях ареста, о мраке и тягости Ямбургской тюрьмы. Он был всегда желчен, всем недоволен, хотя и уверенно говорил о своем скором выходе из тюрьмы. В свою деревню ехать служить он не собирался. Пробыл в тюрьме гораздо более моего.

Быстро прошел нашу Дерябинку тогда диакон церкви экспедиции, а теперь священник в Полюстрове о. Николай Перов. Он очень сильно сокрушался в тюрьме, чего-то опасался, нервничал и плакался. Как будто у него было что-то беспокойно или неблагополучно в семье. Пробыл у нас он дней пять-семь и вышел на волю, передав мне в наследство большую краюху хлеба.

* * *

Вспоминая теперь все пережитое и перечувствованное в Дерябинке, после того, как я побывал почти во всех других тюрьмах, я должен сказать, что это действительно был лагерь, или даже богадельня. Тяжесть сидения зависела не от условий Дерябинки, а от времени с его запугиваниями,

угрозами, с его страшным красным террором. Интеллигентное общество, умные, деловые разговоры, доброжелательные сокамерники, сравнительно большая свобода движения в пределах тюрьмы; возможность, по крайней мере для меня и некоторых других, часто проходить и ходить по круглому двору и постоянно без всяких стеснений стоять у открытого окна и любоваться красивым видом безбрежного моря – все это делало жизнь в Дерябинке недурною.

Я имел даже возможность написать и переслать два обширных письма домой и два – Владыке-митрополиту Вениамину. А некоторые устраивали даже свидания на расстоянии с родными и знакомыми. Одной стороной Дерябинка выходила на безлюдный, бездомный переулок с длинным забором; по нему никто не ходил и не стояла никакая стража. Это было примечено и дано было знать родным, что они, проходя, как бы прогуливаясь по этому проулочку, могут смотреть в окна этой стороны тюрьмы, где в это время, в определенные часы, будут у окна стоять заключенные.

И сравнительно долгое время дерябинцы платками и разными жестами переговаривались с родными. Понятным и дорогим было уже одно то, что друг друга могли видеть и знать, что живы и здоровы и никуда не отвезены. В то время эти вести были весьма ценны. Часто нашим родным за верное возвещали, что того-то или стольких-то тогда-то увезли или увезут из Дерябинки – и в самые неприятные места.

Так однажды к моей жене явилась некая негодница в одеянии сестры милосердия и с большим сочувствием к ее горю передала ей, что я в эти дни буду увезен в Кронштадт, что меня в тюрьме всего обокрали и мне не в чем выбраться, что нужны деньги и теплые вещи для меня, что эти вещи и деньги она может передать, ибо ей всюду и все знакомы. Но если ей дадут около пятидесяти рублей, то она похлопочет и меня в Кронштадт не повезут. Конечно, семья была страшно перепугана, начала бегать искать денег, ибо теплых вещей никаких у нее моих не было, и, к счастью, никаких денег она не могла найти и отдала этой негоднице только, кажется, несколько вещей из моего белья...

Неудивительно, что семья моя с нетерпением также ждала дня передач, когда самым фактом принятия от нее посылки и получения ею обратной от меня с маленькой хотя бы записочкой она удостоверялась о моем наличии в Дерябинке и хотя бы о внешнем благополучии.

С половины октября пошли по тюрьме слухи, что ввиду больших арестов в городе Дерябинка предназначена к разгрузке и в первую очередь будут освобождать давних ее обывателей. И действительно, некоторых

стали выпускать. Даже и самое маленькое основание к надежде бодрит и веселит, настроение у нас у всех повысилось. У нас же – духовных – появилась еще более прочная надежда. Стало известно, что сидевших в Петропавловке священников освободили. Ну, думали, если из этого кромешного ада можно выйти на свет Божий, то не оставят и нас в Дерябинке еще на долгую мариновку.

А тут появился, доселе не знаю откуда и как проникший, слух, будто бы только от митрополита Вениамина идущее известие, что для допроса и освобождения нас едет из Москвы какое-то особое лицо, специально для разбора и ликвидации наших дел командированное. И вот какое-то лицо действительно явилось однажды вечером в тюрьме, и наряду с другими немногими вызваны были к нему для допроса и мы: я, Ливанский и Семеновский. Я был вызван к нему в комнату. Это был еще сравнительно молодой человек, с двойной фамилией, мною забытой; следовательно по особо важным делам и, в частности, о нас, духовных, из Москвы. Он в конце допроса дал мне свою визитную карточку, долго мною хранимую, но потом уничтоженную, как бы во время неоднократных у меня впоследствии обысков она не попала кому-нибудь в глаза и не причинила ему больших неприятностей.

После некоторых предложенных мне им вопросов – самых общих и формальных – он спросил меня: знаком ли я со священником о. Л. Богоявленским и о. Философом Орнатским. Любопытство следователя о знакомстве с о. Орнатским мне и тогда и теперь отчасти понятно: Орнатский был расстрелян как сочтенный за контрреволюционера, и то или иное отношение мое к нему могло рисовать и мою политическую физиономию. Но для чего потребовалось ему знать о моем знакомстве с Богоявленским, я и доселе понять не могу.

Об Орнатском я ответил, что не раз имел случай быть вместе с ним в разных собраниях духовенства, но более близкого знакомства не вел с ним; что он за человек, не знаю; только одно могу сказать: что почти по всем церковно-общественным вопросам на собраниях я с ним расходился. Богоявленского знаю лучше, как соратника по Епархиальному Совету; о нем могу сказать, что он человек очень аккуратный, весьма далекий от всякой политики. “А не хитрый ли он человек?” – На этот вопрос следователя я ответил, что он человек умный и не без хитрости. Больше, кажется, меня ни о чем не спрашивали.

Когда же я на его вопрос – сколько времени я сижу в тюрьме – ответил, что почти два месяца, то услышал от него такое утешение: “А вы не обижайтесь: в такое время трудно бывает разобраться, кто прав, кто

виноват; страдают и невинные”. Такое признание тогда меня умилило: вот, думал я, какие еще есть добрые и отзывчивые люди среди большевиков. Припомнил я, что и на бывших прежде допросах русские допрашивавшие относились ко мне хорошо и были, казалось, готовы освободить меня, и если все-таки отправляли далее в тюрьмы, то из-за страха самих их перед ассистентами при них – евреями, так грозно и бранчиво меня, как вообще священника, аттестовавшими.

В заключение следователь сказал мне, что Богоявленский уже несколько дней как на свободе, что я тоже, вероятно, буду освобожден, и что я должен быть благодарным митрополиту Вениамину. Следователь в комнате был не один, и последние его слова были произнесены полупшепотом.

Как потом я узнал, митрополит Вениамин очень сильно поспособствовал нашему, и в частности моему, освобождению. У нас в Питере был священником о. Михаил Владимирович Галкин, из молодых да ранних, большой карьерист и для своих своекорыстных целей не брезгающий средствами. Всегда и повсюду себя рекламируя как самого ревностного пастыря, искренне и самоотверженно верующего, он с первых же дней власти большевиков как-то незаметно перекочевал к ним и занял у них большое ответственное положение в комиссариате Юстиции, в отделе, ведающем делами нашей Православной Церкви. Живя в Москве, он нередко наезжал в Питер. Он знал все наши арестантские положения и мог ухудшать их, в силах был и улучшить их. У всего духовенства он вызывал чувство брезгливости.

К нему-то, побеждая в себе все тяжелое и неприятное, с опасностью подвергнуться нареканиям и укорам от духовенства и мирян, и обратился в этот раз, как и впоследствии потом не однажды делал, митр. Вениамин, с просьбой ходатайствовать за нас, сидящих в тюрьмах. Митр. Вениамин лично ездил к Галкину на квартиру, и результатом его унижения ради нас и было наше освобождение. Вечная молитвенная ему память!

Освобожден я был вместе с Ливанским дня через три – четыре после допроса. Известие о сем пришло утром; частным образом немедленно было из канцелярии сообщено нам, а вечером мы ушли из тюрьмы... Когда утром стало известным о моем выходе из тюрьмы, то некоторые церковники обратились ко мне с просьбой – поручением: как только станет возможным, собрать всех, сидевших в Дерябинке, в Казанском соборе и отслужить Господу благодарственный молебен за спасение жизни и благополучный выход из тюрьмы, и панихиду о убитых и умерших. Не подозревали мы в то время, что некоторым из нас не раз еще

придется сидеть в тюрьмах, много удастся приобрести новых друзей и гораздо более тяжелое, ужасное и для жизни опасное претерпеть и перенести...

Не могу не вспомнить, что прощание мое с тюрьмой было очень сердечным. Меня благодарили за пастырское поведение мое в Дерябинке и сердечное отношение ко всем; мне, могу сказать, не завидовали, только сожалели, что я покидаю их, у которых больше не остается священника и все доброе, заведенное при мне, должно будет прекратиться. Так, действительно, и было: молитвы расстроились, богослужение некому было совершать.

При прощании ко мне подошел некто из сидящих в Дерябинке. С ним доселе я ни разу не говорил, но мне было известно о нем как человеке неверующем, насмешливо и дерзко относящемся к религии и все время подшучивавшем над нашими молитвами. Он подошел ко мне, подал руку и сказал (слова его я запомнил хорошо): “Вы мне показали пример истинного священника; теперь я по крайней мере не буду осуждать и бранить огульно все духовенство. Вы многое сделали и для меня. Спасибо!” Сказал и, быстро отвернувшись, отошел от меня. Эти его слова были лучшей для меня радостью и благодарностью.

Часов в девять – десять вечера 1326 октября я был уже дома. Приход мой домой не был большой неожиданностью. Я смог из Дерябинки уведомить домашних о возможно скором освобождении и об обещании следователя. На лестнице своего дома я встретил Анну Константиновну Живягину, уходящую от нас; она, конечно, вернулась опять к нам. Скоро стало известным по всему Институту о моем возвращении домой, и ко мне быстро пришел Василий Антонович Косяков с расспросами о моем житье-бытье в тюрьме и о здоровье теперь.

Вечная ему благодарность от меня и от всей моей семьи. Только благодаря ему в августовские дни я остался живым, когда всех взятых в то время священников – свыше десяти человек – расстреляли или утопили. Он своим ходатайством перед Луначарским и защитой меня перед ним подвинул того потребовать моего освобождения еще с 10-й Роты. И если я не был освобожден тогда, то только сам я виноват в этом. “Как его, – т.е. меня, – можно освободить, коли он все время на допросе говорил о вере?” – сказали Василию Антоновичу Косякову после моего допроса на 10-й Роте; а он здесь стоял и ждал меня увидеть свободным. Не освободили, и ладно; только бы не казнили. А этим я обязан В. А. Косякову. Вечная ему память!

Второй арест. Выборгская бывшая военная тюрьма

Не пробыл я дома на свободе и недели, как опять был арестован. Было это числа 20–21 октября (по ст.ст.), часов в одиннадцать-полдвенадцатого, – наши только что собрались ложиться спать, как явился смотритель Института в сопровождении человек пяти полустражи-полухулиганов, одним из коих предъявлен был мне ордер на мой арест без всякого предварительного обыска в квартире.

Не только удивлен, но ужасно поражен был я такой неожиданностью. Я все еще пребывал в наивном мнении, что раз я отбыл свою тюремную повинность, то уже в дальнейшем свободен от нее, – по крайней мере на ближайший год. Отсюда невольно вырвался у меня возглас при прочтении предъявленного мне ордера: «Да я только что вышел из тюрьмы! За что же опять-то меня арестовывать?» На что получил вполне резонный ответ: «Нам это неизвестно. Одевайтесь, поедем!» Наученный тюрьмой, я собрал спальное белье, взял что-то из хлебного и поехал.

Невдалеке от дома посадили меня в автомобиль; рядом со мной сел какой-то страж, и поехали. Поехали сначала на какую-то Роту; страж мой, что-то сказав другому, сидевшему вместе с шофером, ушел в какой-то дом, где пробыл минут пятнадцать-двадцать, и снова в одиночестве пришел и поехали. Ехали недолго; остановились почти на углу Загородного и Забалканского. Опять мой страж ушел. Сидевший с шофером тоже отошел от своего соседа. Отсутствие продолжалось минут тридцать-сорок.

Шофер, вероятно от скуки, попытался вступить в разговор: «И за что это Вас арестовали?» – «Не знаю», – ответил я. – «Ну и люди! Сколько вот уже народу поарестовывали...» Вернувшийся страж привел с собой еще кого-то, интеллигента лет тридцати пяти-сорока, коего посадили вместе со мной. Ну, подумал, значит, я не один. Что, еще кого-нибудь будем захватывать, или поедем, куда надлежит?

Больше никуда не заезжали. Ехали долго. Мы все трое, сидевшие вместе, сидели молча, не разговаривая. Проехали Неву, еще какую-то речонку; поехали какими-то узкими переулками или с совершенно немощеными улицами, или с настолько разбитой мостовой, что качало нас в машине из стороны в сторону и пришлось буквально ползти. Наконец, остановились.

Ввели нас в помещение, оказавшееся, как впоследствии я узнал, одним из полицейских участков Выборгской части. Устройство такое же и здесь, что и на 3-й Роте, где я сидел в августе, только еще более тесное: с

такими же решеткой и кроватью, с очень узким расстоянием между первой и последней. Здесь находилось уже человека три-четыре, мне все незнакомые и меня не знавшие. Но мой спутник оказался знакомым с одним из бывших уже тут – пожилым господином, тоже интеллигентом.

Между ними начался разговор, который не раз возобновлялся и в течение следующего дня, который нам пришлось провести вместе. Заметно, интеллигенты эти были из людей весьма осторожных и даже запуганных; разговор они старались вести как можно тише, часто озираясь по сторонам – не подслушивает ли их кто. Но и мое ухо, человека, привезенного неведомо куда и посаженного неведомо с кем, было весьма чутко напряжено и невольно ловило слова их. Уловить же я мог немного.

Спутник мой оказался молодым ученым ботаником по фамилии Буш; собеседник его – тоже ученым и тоже, кажется, насколько помню, ботаником из Ботанического сада. Причину своего ареста они не могли понять и установить. То ставили ее в связь с красным террором по поводу убийства Урицкого, то в зависимость от наступающих дней большевистского праздника 25 октября. Одно для них, а потом и для меня, ясно было: это борьба большевиков против интеллигенции.

Ночь прошла без сна; было холодно, голодно и томила неизвестность положения и причин ареста. Общего разговора не было. Каждый думал свою думу. Никто из внешних, т.е. ни от начальства, ни от поставленной у нас стражи, нас не беспокоил. До середины дня принесли и передали передачи к кому-то из сокамерников. Я получить таковую не надеялся. Я не мог и предположить, чтобы мои семейные могли узнать место моего заключения: так я далеко и таинственно от них был увезен. Эта неизвестность моего заключения для моих родных сильно меня тяготила; их беспокойство, их искания, их хлопоты живо представлялись мне.

Но русский человек, даже и в такие страшные, кровавые дни, какие были в 1918–1919 годах, когда жидовствующие принуждали его быть зверем, не мог не обнаружить исконного своего качества: доброты и сострадательности. Как я узнал потом, кто-то из арестовывавших меня не мог не сдаться на мольбы моих семейных и сказал им адрес, куда меня повезут. Отсюда-то часам к двум-трем дня, совершенно неожиданно для меня, – передача пищи мне от семьи. Радостно было не то, что получил пищу, а то, что мое место известно семье, а если его не скрывают, значит и положение мое не особенно безнадежно.

Меньше суток я пробыл в этом участке. Часов в восемь-девять вечера нас ввели всех в зал. Тут скопилось уже человек тридцать-сорок подобных нам арестованных, или только что привезенных, или сидевших в других

помещениях. Поставили нас в ряды. Явившееся начальство – высокий, с грубыми ухватками и дикими, дерзкими выкриками дяденька – здоровнейший детинушка – обругал по-русски оказавшихся среди нас человек пять женщин; крикнул на меня словами: «И этот тоже сюда же лезет» (слова эти мне стали понятными только потом, когда узнал причину ареста всех, и в том числе меня) и преподал наставления окружившим нас солдатам, как нас вести и как по дороге с нами справляться. Не забуду таких его слов: «Чуть что – не жалейте эту сволочь: бей ее»... А сволочь эта была все исключительно интеллигенция.

Повели нас по грязи, под дождем, какими-то переулками. При таких условиях бежать и скрыться было нетрудно; к тому же было очень темно. Но мы все были так послушно воспитаны, а теперь к тому же и запуганы, что думали не о побеге, а как бы поскорее добраться до покойного и теплого помещения.

Привели нас в Выборгскую бывшую военную тюрьму. Здесь в канцелярии приняли нас недоумевающе, но приветливо. Недоумевали потому, что тюрьма была еще совершенно не подготовлена к нашему приему; в ней недавно была только что произведена какая-то большая чистка помещения после каких-то грязных обитателей. Приветливость канцелярии действовала на нас ободряюще, но смущало наименование тюрьмы «военной», соответствовавшее содержанию в ней военных преступников на военном положении.

Значит, – невольно рассуждали привезенные сюда, по канцелярии рассыпавшиеся и оказавшиеся многие между собой знакомыми, – нас будут здесь содержать строго и считают нас за важных особ. Это заключение наводило уныние на большинство. Кроме нас, пришедших из одного со мной участка, сюда одновременно или почти одновременно с нами были приведены и из других участков, и тоже почти исключительно интеллигенты. Тут-то и стала выясняться истинная причина ареста громадного большинства из нас.

Арестованными и сюда приведенными оказались лица, значившиеся в списках разных партий: кадетов, трудовой партии, социал-демократов и др. Большевики в ожидании своего праздника пришли почему-то сами в состояние испуга. Убоялись они переворота или возмущения на празднике и постарались от своих партийных врагов избавиться хотя бы на время праздников, посадив их по тюрьмам. То же самое они проделали потом и в 1919 г., и в те же самые дни. Я не принадлежал никогда ни к какой партии, но числился в списках кадетов в качестве кандидата в районную Думу.

После Февральской революции были организованы районные

городские Думы. Начались выборы в них. Я стоял далеко от этого дела. Но вот однажды в воскресенье, после обедни, – это было приблизительно в марте 1918 г., – я получил письмо от проф. университета А.П. Нечаева с просьбой дать свое согласие на выставление меня в списках кандидатов в районную Думу. Письмо принесли какие-то две дамы, коих я доселе не знал. Они стали меня сильно уговаривать дать свое согласие, приводя и чисто церковного значения доводы. Склонили они меня уверением, что их список кандидатов пойдет не под флагом кадетских партий, но как список интеллигентных лиц. Поверив такой беспартийности этого списка, я дал свое согласие.

В действительности оказалось не так. Моя фамилия была помещена в списке от имени кадетской партии, и я, таким образом, неожиданно и нежелательно для себя, соединил себя с кадетами. Вместе с ними прошел сначала в кандидаты, а потом и члены Нарвской районной Думы; однажды даже и заседал в ней, ничего не поняв в рассуждениях об устройстве какой-то сапожной мастерской; вместе с кадетами должен был и посидеть дважды в тюрьме. В таком же положении оказался и протоиерей Василий Пигулевский, с коим мы вместе попали в Выборгскую тюрьму.

* * *

Просидел я в Выборгской тюрьме восемь дней – самые большевистские праздники. Это сидение походило больше на тюрьму, чем в Дерябинке; но и тут было не тяжело, особенно в первые дня три-четыре. Еще во время пребывания нашего в канцелярии обозначилось, что преступники мы, надо думать, не особенно уже большие, что привод нас сюда есть только изоляция на некоторое непродолжительное время. Уже из канцелярии начали некоторых – человек до пяти – освобождать по каким-то телефонным приказам.

Разместили нас, почти всех интеллигентов кадетской партии, во втором этаже, по двое в камере, очень просторной, без запора на день, со свободным (конечно сравнительно только) хождением из одной камеры в другую. Многие знакомые между собою и до тюрьмы здесь приобрели новых знакомых. Образовались общие беседы, пошли интересные разговоры. Я, как священник, опять, как и в Дерябинке, стал предметом общего внимания (о. Пигулевский, как ходивший в светском костюме, естественно, не входил в поле общего внимания). К расспросам – кто я, како мыслю, стали невольно присоединяться потом вопросы чисто церковные и религиозные; появились религиозные разговоры и беседы, и меня попросили делать доклады.

У меня из дома было захвачено маленькое Евангелие, и я стал читать

и объяснять Нагорную проповедь Спасителя. Мои беседы привлекали большое количество слушателей – исключительно интеллигентов. Выбиралась для них большая из камер, и она вся бывала переполнена. За моими беседами шли вопросы и общие на них ответы. Нередко говорилось о том, почему русский народ оказался таким, по-видимому, кощунственно-богохульным, почему русское православное духовенство с таким незначительным было влиянием, отчего оно теперь так гонится и презирается и т.п.

Никогда не забуду слов Изгоева, сотрудника из газеты «Речь»: «Ваши, т.е. православного духовенства, – говорил он, – страдания необходимы, чтобы смыть грех исторического духовенства и спасти Россию. Страданиями Христа спасено человечество, – вашими омоется нечестие и купится спасение русского народа». Не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этого положения Изгоева... В этих беседах окончательно выяснилась и причина нашего общего тюремного заключения.

При этих беседах, в таком добром интеллигентном обществе, легко чувствовалась и переживалась тюрьма. Но недолго пришлось вести их. На них кто-то обратил внимание; начальству тюрьмы они были поставлены на вид, и нас со второго этажа перевели в первый, рассадили поодиночке и камеры постоянно стали держать на запоре.

В одиночестве было тяжело; невольно вспоминалась Дерябинка. Впрочем, начальство тюрьмы, по-видимому, старалось нам сделать возможно лучшее. Каждое утро нас целой большой группой одних интеллигентов посылали то на кухню рубить капусту, чистить картошку, то на двор рубить дрова. Особенно приятно и желательно было второе. Очутившись снова вместе, мы опять начинали наши беседы, споры; гадали и предполагали о всевозможном: о ближайшем – нашем положении в тюрьме и о выходе из нее, и о дальнейшем – о судьбах России и русского народа. Часа два-три утренних, проведенных так в общении, скрашивали скуку остального целого дня. Делать было нечего, читать тоже нечего было. Не помню, откуда-то я достал одну книжечку, перевод с немецкого.

В этом одиночестве врезалась мне фигура и только одна фраза, сказанная мне неким гражданином, который назвал себя Иваном Ивановичем Байковым (кажется, так), социалреволюционером, несколько лет бывшим в ссылке в Сибири за свою партийность. Подошел он к окошечку в двери моей камеры (окошечко не закрывалось и не запиралось) и буквально сказал мне следующее: «Зачем вас-то они (т.е. большевики) тревожат? Что им нужно от религии? Я вот неверующий, но веру других мы (т.е. социал-революционеры) никогда не тронем. Я от царя не раз

сидел в тюрьмах, а теперь революция – снова меня посадили в тюрьму. Вот они какие революционеры, эти большевики-то».

Больше из своего одиночества я ничего не помню. Ходил из угла в угол в очень узкой камере или лежал на койке. Думал, когда-то меня отпустят и как это я необдуманно поступил, связав себя с партией кадетов... Большевистский праздник 25 октября прошел в тюрьме тихо и спокойно, – без всяких торжеств. Только вместо маленькой порции черного хлеба выдали нам по сайке из сравнительно белой муки.

* * *

С сотрясенной нервной системой после Дерябинской тюрьмы, взволнованный вторичным арестом и суточным сидением в какой-то незнакомой клетке на Выборгской стороне, я болезненно тяжело чувствовал себя в одиночестве Военной тюрьмы, и не раз глаза наполнялись слезами. И когда на восьмой день ареста надзиратель, подойдя к моей двери, объявил мне, что я освобожден, – я расплакался, и добрый надзиратель стал меня утешать. Это был первый плач в тюрьме! Второй раз я заплакал, когда 114 августа 1922 г. объявили мне на Шпалерке, что расстрел заменен пятью годами. В остальные разы – в тюрьмах и при обысках – нервы всюду и всегда мне не изменяли.

Это освобождение, собственно сравнительно быстрое освобождение (ибо все были освобождены только после меня) произошло опять благодаря хлопотам дорогого Василия Антоновича Косякова. Он, на другой же день после моего ареста, возбудил ходатайство об освобождении меня и еще кого-то из профессоров Института перед Луначарским. Последний потребовал нашего освобождения; тех освободили, меня оставили. Как потом передавали мне, Луначарского озлобило то, что его ходатайство с его ручательством за нас не в полной мере было удовлетворено. Он это почел за недоверие к нему – народному комиссару, и он поставил вопрос о доверии к нему. И только тогда, скоро после праздника, я был освобожден.

Обыски 1919–1920 гг.

В течение этих лет я и моя квартира подвергались двум или трем обыскам. Они производились в порядке общего сыска то оружия у граждан, то золотых, серебряных и др. ценных предметов. Меня и семейных они мало беспокоили, ибо ничего из разыскиваемого у меня не было. Тем не менее, они причиняли мне каждый раз различные неприятности. Так, во время одного обыска, в ящике конторки, где

хранились у меня различные железные хозяйственные вещи и орудия, нашли какую-то небольшую принадлежность от ружейного снаряда, занесенную кем-то из детей и негодную к употреблению. Обыскивающий привязался к ней, стал грозно говорить и укорять меня за держание и хранение у себя таких опасных огнестрельных вещей; отобрал ее у меня и составил даже целый акт насчет этой находки.

В другой раз обыскивающий, роясь среди писем ко мне и прочитывая некоторые из них, наткнулся на одно письмо от девяностых годов, где какой-то мой корреспондент неодобрительно отозвался о правительстве того времени. «Что это у вас за письмо? Ишь как дурно пишут в нем о начальстве! За это письмо – знаете что?» Удивленный, я замечаю, что письмо очень давнее и говорится в нем о правительстве давно минувших дней. Тогда обыскивавший, простой рабочий, по-видимому смилостивился надо мной и дал мне буквально такой совет: «Вот что, отец, уничтожь ты эти письма, а то попадутся они в другой раз кому-нибудь на глаза, увидят брань на начальство и посадят тебя в тюрьму. Доказывай ты там, что письмо относится к давним временам; пока ты это докажешь, в досталь насидишься в тюрьме».

Подумал-подумал я над этим советом рабочего и решил поступить согласно с ним. Уничтожил все письма ко мне, кои я хранил в течение двадцати лет. Они были написаны мне разными лицами, в церковной иерархии высокими, как например, Сербский митрополит Михаил, наш митрополит Антоний и др., содержали в себе весьма интересные и важные сообщения и суждения о церковно-общественных делах и по вопросам миссионерским, церковной реформы и др. Много, очень много ценного я уничтожил, сжигая эту свою громадную переписку. Как мне теперь ее жаль!

В третий раз разыскивали и отбирали ценные вещи. У меня из таковых была только дюжина столовых ложек. И решили мы их спрятать. Положили их на чердаке в детскую коляску, забросав бумагой и ненужными книгами. Обыскивавшие проникли и на чердак и там разыскали нашу похоронку, принесли ложки к нам в комнату и с резким выговором прочитали нравоучение на тему о том, что Советская власть совсем не хочет лишать граждан необходимых для них вещей, отбирает лишь предметы роскоши, и что нехорошо так дурно думать и относиться к ней.

Все эти обыски происходили по ночам, будили от сна, подымали с постели; заставляли открывать все ящики и шкафы, но, впрочем, ни разу не трогали постелей и никого из семьи не обыскивали. Чаще об этих

обысках знали заранее, как происходивших где-то около нас; известны были и предметы сыска. Каждый раз в Институте обыски начинались с других квартир и помещений, и меня предупреждали быть готовым к принятию этих гостей. Хотя и был известен общегражданский характер обысков и заранее указывалось, что именно будет разыскиваться, но всякий раз они приносили волнения и нервные раздражения. Недоверие к власти, ее произвол и беззакония внушали только боязнь и ожидание всяких неожиданностей и даже невозможностей.

Третий арест. Кресты

Это было в августе – числа 24–26 (по ст.ст.) 1919 г. Опять у большевиков были какие-то страхи, и они собирали людей различных партий. Забран был и я, однажды уже отнесенный ими к кадетам. Подробности самого ареста и сидения в Крестах у меня не сохранились в памяти. Арестовали ночью – в 1ч., – после небольшого, безрезультатного обыска, к тому же внешне-формально и поверхностно произведенного.

Привезли в автомобиле на Гороховую. Здесь в какой-то канцелярии долго я сидел, чего-то ожидая, совместно с двумя евреями, арестованными, как потом я от них узнал, по подозрению в какой-то спекуляции. Потом отправили нас в другое помещение, где происходил обыск. Обыскивал пожилой солдат. Сначала обыскивал евреев, обыскивал их весьма тщательно, можно сказать с пристрастием: выворачивал все карманы, снимал обувь; отобрал у них ножи, часы, большой кусок хлеба.

Смотря на всю эту процедуру, и я развязал свой маленький узелок с небольшим кусочком хлеба и готовился его уже отдать. Но обыска у меня, к моему радостному удивлению, совершенно не произвели. У меня только спросили: нет ли у меня ножа или серебряных вещей; и после моего ответа, что кроме вот этого узелка с куском хлеба у меня ничего нет, меня оставили в покое. И мало этого: вдруг солдат передает мне хлеб, отобранный у евреев. Я в смущении отказываюсь его взять и слышу: «Возьми, отец; в тюрьме все пригодится; а эти люди богатые, сытые...» И с добродушной улыбкой отдает его мне.

После этого нас опять всех трех отправили в камеру на Гороховой № 65, где я год тому назад уже был. В этой камере все было по-старому: тесно, грязно, вонюче; обитатели ее – больше из простого народа. Пробыл я здесь одни сутки. Опять позировал перед фотографом. Таким образом, в альбоме преступных типов на Гороховой имеется два моих снимка – 1918 и 1919 гг. К вечеру с большой партией отправили меня в Кресты.

Кресты – это самая настоящая тюрьма, и отношение к арестованным самое строгое, внушительное. Посадили меня в четвертом этаже вдвоем с одним рабочим из партии трудовиков: рядом и напротив в камерах рассадили других партийных людей. Здесь оказались некоторые знакомые по Выборгской тюрьме, но видаться с ними пришлось только однажды в сутки – по утрам. В камерах не было в то время ни умывальника, ни «параша»; поэтому по утрам отпирали камеры минут на тридцать-пятьдесят; все бежали в общую уборную, – кстати сказать, очень грязную и вонючую, расположенную как раз напротив моей камеры.

В эти-то минуты происходили краткие разговоры, обмен новостями, сплетнями, книгами, газетами; здесь начинались новые знакомства. И опять в моей памяти не сохранились фамилии моих сотоварищей по тюрьме. Просидел я в Крестах восемнадцать дней.

Это были тяжелые дни. С моим сокамерником разговоров общих идейных не могло быть. Человек он был добрый, простой и сердечный, но жил своей собственной жизнью, в области воспоминаний о службе и о семье; читать было нечего; у меня была только одна Библия. Помнится, других книг я не хотел иметь, желая в одиночестве лучше изучить Библию. Из нее я действительно очень много прочитал. Но это было все-таки очень однообразное чтение.

Утренние беседы с запуганными людьми-интеллигентами нагоняли только тоску и уныние. Август-сентябрь 1919 г. были временем красного террора. Поэтому разговоры вертелись около известий об арестах, расстрелах, ссылках, и все это преподносилось как не только возможное, но почти как и неизбежное и для нас всех. А тут в середине моего сидения в Крестах в газетах было помещено известие о каком-то заговоре и приведен список расстрелянных; в нем оказались главным образом кадеты. Какие мрачные мысли после этого поползли в голову!

Доселе не знаю, кого благодарить на этот раз, что сидение мое в Крестах было непродолжительно. Другие из кадетов сидели там долго и после меня, и возили их даже зачем-то в Москву. Меня вызвали вниз к следователю. Этот предложил мне ряд вопросов, интересуясь главным образом моим отношением к партии кадетов. Я выяснил ему всю настоящую правду о том, как я попал в кадетский список. Дня через два после этого я был освобожден. Это было 13 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня. Из тюрьмы я успел заехать домой и попасть к началу всенощной в Троицкий собор, где я в то время, с конца июля, был настоятелем.

Кресты – самая мрачная и суровая тюрьма. И воспоминания у меня от

них весьма тяжелые. Внешне бедная там жизнь была сосредоточена на одних внутренних переживаниях и страхах.

Четвертый арест – в Кронштадте

В мае или начале июня 1920 года я сопровождал митрополита Вениамина в Кронштадт на освящение придела в Николаевском Морском соборе. У нас были пропуска туда и разрешение на пребывание там в течение двух или трех дней. Это право было, конечно, предъявлено местным властям. Но они с самого первого дня въезда нашего стали придирааться ко всему, относящемуся к нам.

Так, в первую же ночь мы были разбужены каким-то стуком в дверь, громкими разговорами и т.д. Но хозяин квартиры, о. протоиерей Виктор Васильевич Плотников (потом епископ Венедикт), не тревожил ни Владыку митрополита, ни меня. Наутро узнали, что приходили посланцы от властей осведомиться о нашем праве на пребывание и о наших видах на жительство, т.е. проверить, что мы за личности. Как будто бы днем этого нельзя им было сделать! Начало не внушало ничего доброго; приходилось быть постоянно на страже. Поэтому, когда были приглашены на обед к настоятелю собора о. П.И. Виноградову, то обусловили, чтобы там кроме нас было не более двух-трех посторонних лиц.

Владыка Вениамин был принят в Кронштадте весьма любезно. Его всюду приглашали служить, и разрешенного времени на пребывание в Кронштадте оказалось мало. Тогда кто-то из хозяев, нас пригласивших, исходатайствовал нам еще один или два дня пребывания в городе. И мы спокойно остались, но за это и заплатились.

В день отъезда из Кронштадта мы обедали у церковного старосты одной из церквей города. Были все в самом спокойном и мирном настроении. Вдруг приходит какой-то служащий откуда-то и предъявляет требование, чтобы мы немедленно явились в местную ЧЕКу. Зачем? Почему? Неизвестно. Кто-то из хозяев решил отправиться в ЧЕКу, чтобы лучше все разузнать и разъяснить, как думалось, какое-то недоразумение. Ушел и пришел с известием, что нас решили арестовать и задержать в Кронштадте за якобы незаконное, без всякого разрешения, удлинение времени нашего пребывания в Кронштадте. Что же это такое? Оплошность с нерадивостью каких-то одних властей, не предъявивших данного нам разрешения другим властям? Или сознательное издевательство над митрополитом, а вместе с ним и над нами, в отместку за всенародно любовный прием ему в городе?

Быстро закончивши обед, пошли по требованию. Помещение приемной, где нас оставил сопровождающий, было грязно, неуютно. Никто с нами не говорил, ни о чем не спрашивали. Сидим – ждем; времени проходит более часу; близится час отхода парохода, с которым мы должны были выехать, а нас все оставляют в недоумении. Наконец, к нам подходит какой-то гражданин неопределенного вида – из «типов» – и объявляет, что мы поедем сейчас вместе с ним до Петрограда и что ни о билетах на проезд, ни о местах на пароходе и на поезде нам не следует беспокоиться.

«Тип» этот держит себя с нами любезно и предупредительно, но сдержанно и начальственно. Мы начинаем понимать наше настоящее положение арестованных; остается лишь неизвестным, куда и для чего нас везут. Как впоследствии узнали, нас хотели было арестовать и оставить в тюрьме в Кронштадте. Но из переговоров с Питерской ЧЕКой выяснилось, что нас требуют на Гороховую.

До парохода нас довели на извозчиках; на пароходе, потом на вокзале и в поезде «тип» услужливо делал все необходимое для нашего транзита, но всегда держал себя как-то умело вдали от нас, не показывая вида, что он наш охранитель и страж. Но или он был известен кронштадтцам в его специальности, или весть о нашем аресте облетела весь город и стала известна едущим на пароходе, только ясно было, что положение митрополита было ведомо, по крайней мере, ехавшим вместе с нами на пароходе, и к митрополиту не только никто не подходил под благословение, но как будто бы даже сторонились его. А он был в своем обычном одеянии с белым клобуком на голове.

Понял наше положение и кондуктор в вагоне поезда, когда за нас билеты ему предъявил сидевший от нас вдали «тип». Мы также сидели более молча. Нам наше положение казалось и странным, и смешным. Опасного в нем для себя мы ничего не видели. Мы знали о разрешении провести нам лишней день в Кронштадте; не чувствовали за собой никакой вины в нарушении каких-либо правил или советских законов; видели только желание кронштадтских властей напакостить нам. Молчали, потому что не хотелось высказываться вслух ввиду сидящих кругом нас пассажиров, да и все-таки чувствовали себя неловко в таком скверном положении.

По прибытии на Питерский вокзал, наш чичероне засуетился, бегая своими плутоватыми глазами кругом, как бы отыскивая и не находя чего-то. Потом, когда весь народ с поезда разошелся, он объявил нам, что он-де поджидал автомобиль для нас, но его-де нет; поэтому придется пешком идти, как бы извиняясь перед митрополитом, говорил он. «Но Гороховую 2

вы знаете, и дойдете сами. Идите впереди, а я за вами», – напутствовал он нас.

И пошли мы гуськом. Впереди я с митрополитом, за нами в некотором отдалении два иподиакона, а за ними, тоже на приличном расстоянии, наш страж. Было более одиннадцати часов ночи. На Измайловском и Вознесенском проспектах народу было очень мало, и наш кортеж почти совершенно не обращал на себя внимания, только изредка поворачивали голову в сторону белого клобука. На дороге мы встретили лишь Сережу Ларионова, поджидавшего приезда митрополита. Хотел было он подойти к нему, но из положения последнего и разных экивоков он понял нашу несвободу и пошел в стороне от нас до самой Гороховой 2, где и ждал, очевидно, результата нашего визита туда.

На Гороховой провели нас на этот раз через парадную дверь и оставили на нижнем этаже (в первые мои два привода на Гороховую меня обычно проводили через двор и наверх третьего или четвертого этажа); пришлось ждать недолго. Очень внимательный и вполне корректный следователь допросил сначала митрополита, а потом и нас; его допрашивали минут двадцать- тридцать, а нас не более десяти. Весь допрос вертелся около проверки показаний митрополита: зачем ездили в Кронштадт, почему оставались на лишний день, у кого бывали и тому подобное.

После допроса всем нам объявили, что мы свободны, выдали выпускные карточки, и мы свободными гражданами, часа в два ночи, когда совсем уже стало светать на улице, покинули ужасную Гороховую 2 и поспешно пошли домой. Митрополита подхватил к себе на квартиру Сережа, а я с иподиаконом Фоминым пошел к себе на квартиру; иподиакон Кожевников поплелся к себе.

Так закончилась эта моя, на этот раз совместная с митрополитом Вениамином, трагическая эпопея, из гостей да под арест на Гороховую. Для кронштадтцев наш арест также обошелся сравнительно благополучно. Духовных двух-трех лиц продержали еще несколько часов после нашего увоза, а мирян, тоже двух-трех лиц, несколько более, кажется, около суток, и оштрафовали хозяина последнего обеда нашего за якобы незаконное собрание неведомых людей.

Пятый арест и снова Гороховая и Выборгская тюрьма

Это было в 1922 году Советская власть требовала церковные

ценности. Наша епархиальная власть в лице митрополита Вениамина и существовавшего тогда Братства Приходских Советов соглашалась отдать все церковные ценности, но под условием, чтобы этими ценностями распоряжались выборные от Приходских Советов, т.е. чтобы эти последние собирали эти ценности, продавали их и на вырученные деньги покупали продукты питания и развозили их в голодающие местности. Советская власть на это условие не соглашалась; требовала передачи их в ее полное и бесконтрольное распоряжение.

Шла торговля. Но вдруг советская власть решила, что епархиальное начальство не хочет отдавать ценности, и приступила сама к насильственному отбору их по отдельным церквам, начав с более видных и богатых: Казанского, Троицкого Измайловского соборов и др. Поднялись народные волнения. Советская власть стала забирать и сажать в тюрьмы лиц, показавшихся ей главными возбудителями и смутьянами. А за этим приступили к арестам и духовенства, и церковных деятелей из мирян. Главное внимание было обращено на Братство Приходских Советов, откуда, казалось советской власти, исходили главные директивы не отдавать ценности и производить народные возмущения.

Мало-помалу в течение апреля и мая 1922 г. были поарестованы почти все деятели этого Братства. Я чувствовал себя почти спокойно, ибо к этому Братству не имел никакого отношения, даже находился и лично, и принципиально во враждебном настроении. Я и доселе думаю, что Братство это, если не активно, то пассивно, если само не способствовало, то своим положением какого-то самодавяющего епархиального правящего органа наряду с митрополитом – содействовало закрытию Епархиального Совета, коего я был председателем. Но я ошибся. Советской власти нужно было разделаться со всеми более или менее видными священниками. К тому же моя фамилия попала в одной записке протоиерея Н.К. Чукова, говорившей об одном частном собрании на квартире Аксенова.

1831 мая в 5ч. утра в квартиру ко мне явился агент с Гороховой и без всякого обыска взял, посадил в автомобиль и увез арестованным на Гороховую. Здесь меня, проведя через какие-то комнаты, без всяких опросов и допросов, препроводили в камеру – опять все в прежнюю № 65, а теперь только переименованную в № 1, где я был уже два раза.

Никаких внешних перемен в ней не нашел я; ни почистилась, ничем не улучшилась. Там я встретился с ранее меня, но в эту же ночь арестованными протопресвитером А. Дерновым, духовником из Александро-Невской Лавры архимандритом Сергием и священником

Пашулиным. Архимандрит Сергей заметно чувствовал себя, как истый монах, спокойно: ел, пил и спал; я не видел, чтобы он с кем-нибудь разговаривал; на вопросы наши к нему отвечал неохотно, односложно, неопределенно, отзываясь на все незнанием. Отец Дернов, видимо, беспокоился. Мы с ним много говорили, отыскивая причину нашего ареста; никоим образом своего ареста ни он, ни я не связывали ни с Братством, ни с делом отобрания церковных ценностей. В то время самым животрепещущим и всех очень сильно волновавшим было только что появившееся обновленчество. Для всех было ясно, что советская власть в значительной степени поддерживала его и всячески способствовала как образованию, так еще более распространению его. Вот нам и казалось, что арестом нас хотят заставить принять обновленчество и пойти за ним. Помню, мы с о. Дерновым, отрицательно относившиеся и доселе к обновленчеству, решили и в дальнейшем не менять своего отношения к нему. Все думали и гадали, какие следователь нам может предложить вопросы в связи с обновленчеством и как нам на них отвечать, чтобы и в обновленчество не попасть, и в тюрьму себя не закупорить. С о. Пашулиным я впервые встретился, и он мне очень понравился сердечностью, простотой и умом. Он говорил о любви к своей старушке матери, о своих научных занятиях по психологии, о своих докладах в Доме Ученых; передавал и о своей былой близости, как товарищу по университету и сослуживцу по храму, к прот. А. Введенскому, как он с ним разошелся, и естественно свой арест ставил в самую очевидную и непосредственную зависимость от последнего, ставшего в то время своим и большим человеком у большевиков.

Недолго я пробыл на Гороховой. Часа в два-три дня меня вызвали и повели вниз. Сначала мне показалось, что ведут меня на улицу – на свободу; но скоро пришлось думать иначе. Меня привели в самый нижний этаж, где сидел какой-то старик-чиновник, невдалеке от меня поставили часового, что-то ему сказав, указывая на меня. Тут-то я уразумел, что не свободой, а чем-то худшим меня хотят наградить. И поползли в уме воспоминания о рассказах о каких-то ужасных подвальных камерах на Гороховой, с температурой чуть ли не сорок градусов, с питанием одной селедкой и с питьем только одной кружки воды, с ужасными клопами, крысами и т.п. Эта-то прелесть и представилась мне меня ожидающей, Больше часу я сидел в этой комнате, предоставленный своему тяжелому размышлению-воображению, Редко проходил и входил кто-нибудь из служащих; иногда уходил и старик. Жуткая тишина.

Потом пришел какой-то агент, показал старику и часовому какую-то

бумажку и приказал мне следовать вместе с ним. Вышли быстро на улицу, сели в поджидавший нас автомобиль и покатали. На улице шел холодный дождь с сильным ветром. Закрытые от него, мы мчались с быстротой невозможной, будто бы за нами кто-то гнался или известно было о каком-то заговоре отбить и освободить меня. Всю дорогу я, всматриваясь в улицы, гадал, куда же везут меня. Ехали по Невскому: не на Николаевский ли вокзал и в Москву? Но зачем? Нет, свернули на Литейный: значит, на Шпалерку; вполне естественно. Но проскакали и мимо нее; проехали и поворот в Кресты. Значит в Выборгскую... Так и есть, перед ней остановились...

Обычная канцелярия, обычные формальности, и вручают меня некоему субъекту, с указанием отвести на 4-й этаж в свободную камеру. Камера – обычная одиночка со всеми принадлежностями для безвыходного в ней пребывания. Осмотрелся, и поворот мысли к семье. А знают ли там, где я. Будут справляться на Гороховой, но за краткостью моего там пребывания, вероятно, не имеется там надлежащих сведений обо мне. Как же дать знать им о себе? Но Бог и добрые люди повсюду.

Для каждого этажа полагался свой староста из арестованных; он пользовался правом на относительную свободу в своем этаже: отмечал и вновь прибывающих, и уходящих; следил за порядком и тишиной и т.п. Вот этот человек и пришел мне на помощь. Не помню, в этот ли день к вечеру, или на другой, он, подойдя к оконцу двери моей камеры, сообщил, что сюда в тюрьму привезли еще двух священников и поместили в нашем же этаже, – Дернова и Пашулина, что обоих их уже отпускают на свободу; быть может, видя некоторую мою беспомощность, он сам предложил мне, чтобы я написал записочку для семьи и попросил бы о. Дернова переправить ее к моей семье, а он эту записочку отдаст о. Дернову. Нечего говорить, как я обрадовался этому предложению. Записка скоро была готова, передана по назначению, как узнал впоследствии, дочерью о. Дернова в этот же вечер была доставлена моей семье. А на другой день или через день я уже получил передачи от Пахомовых и от семьи. Радостно бывает в тюрьме не от передач самих по себе, а от того, что они свидетельствуют об известности для семьи твоего нахождения в том или ином месте.

* * *

Разумеется, главной мыслью было гадание, за что посадили в тюрьму, в чем тебя обвиняют. На другой день, поздно ночью, когда я уже спал, меня разбудили и повели в канцелярию, конечно, не говоря ничего, зачем ведут. Оказалось – к следователю на допрос. Допрос вертелся на моем

отношении к отобранию ценностей, к митр. Вениамину и к Братству; допрос был короткий, и мне самому предложил следователь написать все мои показания. В своем письменном показании я был чистосердечно откровенен и написал многое на себя самого, что потом на суде постоянно цитировалось, было внесено в обвинительный акт и в судебный приговор. Допрос меня ободрил. Ну, думал я, обвиняют в том, в чем я совершенно не виноват. Значит меня приплетают к Братству; но я к нему отношение имел только отрицательное, что легко, думал я в своей наивной простоте, на суде и обнаружится.

Дня через три-четыре после допроса приносят мне печатный обвинительный акт. Читаю и поражаюсь: я зачислен в число главных обвиняемых, наряду с первыми деятелями Братства; я внесен в активную боевую группу; мне предъявлено обвинение по неведомой мне 62-й статье нового Уголовного Кодекса. Но что это за статья? Что содержит и чем грозит?

Не успел я пережить этот громовой удар от печатного листка, не смог себя ориентировать, как меня вызвали на свидание с женой. Как я на этот раз был не рад этому свиданию! Что я скажу ей? Ведь я в письме через о. Дернова и в письме при передаче как будто искренне уверял ее, что у меня никакой нет вины и что мне ничто неприятное не грозит, и вдруг... Такая неожиданная тяжелая неприятность. Конечно, на свидании я вел себя весьма растерянно, старался быть бодрым, но на лице и в голосе моем выражались уныние и печаль; старался успокоить жену, но и она поняла и даже высказала мне, что я чувствую что-то неладное. Она ушла как будто довольная тем, что видела меня; я пошел в камеру весьма мрачным и печальным: что-то со мной будет, когда-то я ее еще увижу и как она перенесет, когда узнает всю правду.

Но что это за 62-я статья? Мой «староста», сам поджидавший суда, узнав о вручении мне обвинительного акта, стал почаще подходить к моему дверному окну и кое-что сообщать мне на мои вопросы. Так, он сообщил, что в Москве тоже был суд над духовенством по делу об неотдаче церковных ценностей, что одиннадцать человек было приговорено к расстрелу, но шесть из них помиловано. Дал даже и газету с этим известием. Итак, значит, и нам предстоит такой же суд, и тоже с расстрелами?! Кому же? Да первым, значащимся в обвинительном акте, – значит и мне?! Вывод самый естественный и правильный.

Видя мое смущение, мой «староста» стал меня успокаивать: «В Москве такой суровый суд был потому, что там судили по старому Уголовному Кодексу, – говорил он мне, – а теперь вышел новый; он,

говорят, милостивей прежнего, там как будто и расстрелов никаких не установлено». Полегче стало на душе; но все-таки, значит, по меньшей мере долгая тюрьма, а быть может и заключение в какой-либо крепости или высылка в Сибирь... Одно другого не легче.

Читал и перечитывал я свой обвинительный акт, но ничего облегчающего и хоть на капельку дающего мне основания думать более спокойно о своем будущем я в нем не находил. Обвинительный акт мне сообщал еще, что и сын мой Павел, который давно уже сидел в тюрьме, когда я еще был на свободе, – тоже будет вместе со мной судиться по обвинению за возмущение толпы при отборе ценностей во Владимирской церкви и ему предъявлены тоже какие-то статьи. Значит, оба пойдем в тюрьму? С кем же останется мать? Только с малышами? Но как же она будет справляться с жизнью? Кто ей сможет помочь? Тут-то и является один ответ: это надежда на милость Божию, и я начинаю горячо и уверенно молиться...

Не порадовал меня и мой защитник. Я не думал ни о каких защитниках и не знал, что такие полагаются, хотя мой «староста» иногда мне говорил о таковых вообще и что они и у нас должны быть. Поэтому вызов меня к нему сначала порадовал и ободрил. Я ему все, что мог и знал, рассказал и с наивностью надеялся получить от него утешение вроде следующего: «Ваше дело правое; сразу же на суде будет выявлено, что к Братству не принадлежали, и вас освободят».

Но услышал от него другое. «Как доказать, – говорил он, – что вы не были членом Братства? Вашим словам не поверят; не поверят и другим обвиняемым, если они подтвердят ваши слова. Вы священник, так надейтесь только на Бога». – «А полагается ли по новому Уголовному Кодексу расстрел?» – спросил я его. «Зачем это предполагать и об этом думать?» В заключение краткой беседы он недвусмысленно заметил: «Хорошо, если бы исход суда у них не был предreshен». Ушел я от своего защитника расстроенным и еще более опечаленным. Он, мне казалось, и расстрелы подтвердил, и отнял у меня всякую надежду доказать на суде своими показаниями непричастность к Братству.

Но недолго пришлось быть в недоумении. Скоро начался суд, продолжавшийся почти целый месяц – с 10 июня по 5 июля (по нов.ст.) 1922 г. Исход его известен. Этот месяц суда был в высшей степени тяжел морально.

Июль 1928 г., дача, деревня Черново».

Пояснение

С 10 июня по 5 июля (нов.ст.) 1922 г. в Ленинграде происходил громкий процесс «церковников» во главе с митрополитом Вениамином. Судили до ста человек, главным образом – священников, но были и миряне – мужчины и женщины.

Судили в военном трибунале по делу о неотдаче церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья, но по статье 62-й Уголовного Кодекса, обвиняя в контрреволюции – «в содействии международной буржуазии в целях низвержения Советской власти». Обвиняемые были присуждены к различным наказаниям. Между прочим десять человек были присуждены к расстрелу, а именно: митрополит Вениамин, еп. Венедикт, Ковшаров, архимандрит Сергей (Шейн) – из профессоров правоведения и член Государственной думы, Ю.П. Новицкий, прот.Л.К. Богоявленский, бывший настоятель кафедрального Исаакиевского собора, прот.Н.К. Чуков, бывший настоятель Казанского собора, Николай Александрович Елачич, бывший секретарь Государственного совета, Димитрий Флорович Огнев, бывший сенатор последнего времени, и я, Чельцов Михаил Павлович, бывший настоятель Троицкого Измайловского собора и председатель Петроградского Епархиального совета.

Главным основанием для суда и осуждения было выдвинуто то, что вышепоименованные лица были членами Правления Общества приходских советов Ленинграда, т.е. входили в организацию хотя существовавшую легально, но обратившую свою работу в деле отдачи церковных ценностей будто бы во вред Советской власти. Меня все время трактовали тоже как члена Правления, хотя всем, и судьям в том числе, хорошо было известно, что членом Правления я не был и все время стоял в открытой оппозиции сему Правлению; приплели же меня, как близкого по своей общецерковной работе к митрополиту и видного протоиерея.

После произнесения приговора, нашими защитниками была послана в Москву кассация на приговор, оставленная Москвой без последствий, а нашими родными посланы ходатаи в Москву во ВЦИК с просьбами о нашем помиловании. Ездил туда и моя дочь, семнадцатилетняя девочка Аня, с одной моей знакомой дамой – бывшей начальницей одной женской гимназии, где я был долгое время законоучителем. Ответ из Москвы пришел только в начале августа, а нам был объявлен 14 августа. Все это время, т.е. с 5 июля по 14 августа – эти сорок дней мы находились как «смертники» в ожидании известий из Москвы, окончательно решающих

наше дело: расстрелять нас или нет.

Четверо, а именно митрополит Вениамин, архимандрит Сергей, Новицкий и Ковшаров не были помилованы, нам же остальным расстрел был заменен пятью годами лишения свободы, т.е. тюрьмой, которая в то время именовалась «исправдомом», т.е. Домом исправления преступников.

Все эти мои записки описывают мои переживания за этот период, сорок дней «подсмертного» состояния. Писал я их по переводе уже из ДПЗ, что на Шпалерной улице, во 2-й исправдом, из этого последнего они были пересылаемы домой, к семье, в качестве писем. Начались писания с ноября 1922 г. и закончены были в феврале 1923 г. Я старался в них быть искренним и правдивым, воспроизводя только то, что и как действительно было и переживалось. Это не дневник «смертника», а лишь воспоминания его о времени с 5 июля по 14 августа (нов.ст.) 1922 г.

Переписаны они с оригинала сохранившихся писем в июле 1926 г.

Протоиерей Михаил Павлович Чельцов 24 июля 1926 г.

Воспоминания

Часть 1

11 ноября. Ленинград 2-я Красноармейская ул., д.14, кв.11. День св. кн. Ольги

Говорят, что у больных капризный вкус. Я физически совершенно здоров и бодр и духом спокоен. Но сильно тянет меня к перу и бумаге. Быть может, в этом сказывается, как отрыжка, старая привычка к писательству. Но что писать? Жизнь идет очень однообразно, но так идет только внешняя жизнь событий дня и физическая, – дух же все требует нового содержания, как пищи себе. Мысль поэтому постоянно работает. Если внешнее не дает ей материала, то она живет воспоминаниями о старом. Все чаще и чаще всплывают в памяти дни бывшего июньского суда и июльского сидения на Шпалерной. Мне и хочется описать все внутренние переживания и перечувствования, в связи с внешней обстановкой, в эти сорок дней предсмертного сидения. После них прошло только три – три с половиной месяца, и каждая мелочь из пережитого в них еще жива и больно вертится в памяти.

22 июня 5 июля – памятный день не только для нас, осужденных на расстрел, но и для всех вас, более нас страдавших и продолжающих страдать доселе. Еще накануне, после нашего опроса о последнем слове подсудимых, часов в одиннадцать ночи было приказано нашей страже привезти нас в суд из тюрьмы в среду 5 июля к четырем часам дня.

Ехали мы в свой исправдом в настроении почти веселом. Развеселившая нас речь – последнее слово прот.В.А. Акимова в суде ярых и злых безбожников, и судивших-то нас в целях унижения и издевательства над верой и Христом, – описывавшего свои заслуги для Церкви и за эту речь (иначе он был бы оправдан, ибо ничего не найдено было «преступного» в его «деле») получившего три года изоляции; терпеливое и как будто внимательное выслушивание трибуналом нашего «последнего» слова, – нас это все бодрило, и, при естественном желании людей в нашем положении все объяснять преувеличенно и в хорошую для себя сторону, располагало предугадывать завтрашний приговор как для нас добрый.

Добрым мы в те минуты считали всякий приговор, хотя бы к тюрьме на десять лет, только бы без расстрела. Мы не придавали значения и даже не обратили внимания на то, что сопровождавший нас конный конвой был увеличен; что, кроме его, нас охранял еще мотор с тремя-пятью чекистами; что обычно милые и разговорчивые наши ежедневные

конвоиры, сидевшие с нами в грузовике, были как будто мрачны и нелюдимы.

Еще при рассаживании нас в грузовики мы смеялись, острили, перекликались, смотря, как «грузили» наших сотоварищей, как сельдей в бочку, в другой грузовик. В него, могущего вместить до двадцати-двадцати пяти человек, понапихали до восьмидесяти-девяноста, ибо никто из подсудимых не был отпущен домой и все были отправлены в 1-й исправдом.

Задержанные долгой погрузкой ехавших в 1-й исправдом и выехав после них, мы сравнительно долго ехали то за ними, то рядом с ними; наш шофер, подбадриваемый нашими веселыми голосами, старался перегнать наших товарищей, но там не хотели уступать, – получался беговой спорт. Наконец мы победили и весело поехали, как мы говорили «домой» – в свой 3-й исправдом. Дома спокойно разошлись по своим камерам. По обычаю прежних дней, я поел из привезенной из суда провизии, без волнения помолился Богу и без тревожных сновидений провел ночь с крепким сном.

Утро следующего дня, т.е. 5 июля, прошло у меня при спокойном настроении духа. Помню, по обычаю я помолился, прочитал акафист Иисусу Сладчайшему и, ходя по камере, думал, что по всем казавшимся мне основательными данным расстрелов не должно быть. В свое время я пошел на прогулку, ходил в паре с о. П. Левицким, настоятелем Рождества на Песках. Он уверял меня, что меня непременно освободят; а еще более я утешал его, говоря, что, может быть, дадут ему годика два-три тюрьмы, а к большему его, безусловно, не присудят. Тогда же я говорил и с Ленинковым (подследственным из бывших студентов-гражданцев), тоже уверявшим меня, что, по его сведениям, весь наш процесс создан лишь для того, чтобы поиздеваться над верой, унижить нашу Церковь, что расстрелов не будет.

Без какого-либо страха стал я потом собираться и в суд. Правда, настроение к этому часу отъезда в суд стало понижаться, что-то тревожное стало заползать в душу, какая-то щемящая грусть уже стесняла грудь. Не с прежним спокойствием услышал я шум подъехавшего грузовика (из моей камеры № 188 на четвертом этаже, выходявшей окном через садик на улицу, всегда был слышен грузовик, почему я всегда одевался и приготавливался в суд заблаговременно и на извещение надзирателя готовиться в суд я выходил из камеры уже готовым), с волнением сошел вниз. Здесь уже собрались и остальные «смертники». Заметно было, что на душе у всех что-то неладное творилось. Изредка слышались остроты и шуточки, но с оттенком тревоги и как бы безнадежности слышались слова

вроде: «Ну, слава Богу, в последний раз едем!»... «Пусть скорее осудят, чем каждый день слушать издевательства»... «Ну, да не расстреляют же», – и т.п.

Прощай, тюрьма, вернемся ли мы сюда, а если вернемся, то какими и для чего, – вероятно все так думали, как и я. Впрочем, мы почему-то были убеждены, что к чему бы нас ни присудили, мы непременно хотя бы на ночь да вернемся в свой 3-ий исправдом, почему большинство из нас не собрали своих вещей в камере, а собравшие не взяли их с собой. Взяли только необходимое для еды и питания.

Припоминаю, что путешествие это последнее в суд прошло почти совершенно в молчаливом настроении. Мы как будто прощались не только с проходящими по улицам нашего пути, – а в лице их со всеми свободными и живыми, – но и с самими улицами и зданиями, садами и т.п., ставшими для нас милыми и дорогими.

Народу на улицах нашего проезда, особенно вблизи суда и у дверей его виднелось сравнительно мало. Заметно было, что он или, напуганный чем-то, сам боялся быть на нашем пути, или его как-то невидимо отгоняли и не допускали. Не виднелась у суда – вблизи его и у дверей – особенно усиленная стража, – как будто было все так же, как и в прежние дни суда, даже как будто тише и в этой тишине – напряженнее и мрачно-грознее...

Около трех часов дня приехали мы в суд вместе с товарищами из 1-го исправдома. Прежде, в дни суда вновь приезжавшие оживляли нашу «комнату обвиняемых», где мы собирались до вывода нас в зал суда и где проводили время в антрактах суда. Теперь печать чего-то ожидаемого тяжелого, грозного как бы лежала на самых стенах и жалкой обстановке комнаты. Тень смерти, где-то притаившаяся, для глаз не видимая, но сердцем чувствуемая, властно царила над сознанием всех. Разговоры не клеились, щебетали лишь наши дамы, хорошо уверенные, что их или совершенно оправдают, или дадут маленькую тюрьму (кажется, их всех под разными видами отпустили домой). Даже обычно беспечная, смеющаяся часть хулиганствующих подсудимых – и эта сократилась и как-то незаметно себя держала.

Не весел был и мой Павлик. Мне чудилось, что и за свою свободу он не был уверен, но обо мне думал лишь мрачное. Правда, он старался утешить меня, а пожалуй, больше себя словами: «Нет, папа, тебя не осудят... вот посмотри, мы оба с тобой вместе пойдем домой», – но сердце ему другое говорило.

Скоро откуда-то стали выползать слухи, что доподлинно-де известно, что расстрелов не будет и митрополит Вениамин будет лишь сослан в

Соловки. Другие передавали, что к расстрелу приговорят то десять, то восемь, то шесть человек. Всякий раз, как слышал я какую-нибудь новую весть, начинал высчитывать-гадать, подойду ли я к той или иной цифре. И обычно выходило, что если десять, то и я непременно. Больно, тяжело становилось на душе. Но не верилось в достоверность ни одного сообщения, было сильное желание убедить себя, что все эти сведения – только сочинительство. А тем не менее очень сильно хотелось слышать все новые и новые сообщения, искать в них приятное для себя успокоение. Но с каждым сообщением на душе делалось все хуже и хуже. Невольно хотелось – не столько от разговоров с другими, но от фигур их, от спокойного вида других, от их физиономий – получить надежду на доброе для себя: если они спокойны, значит, они знают что-то хорошее, значит, и тебе нечего беспокоиться.

Я старался внимательно всматриваться в настроение, в лицо митрополита Вениамина. Ему-то, думалось мне, больше всех других должен быть известен исход нашего процесса; ему приговор суда должен быть более грозным и тяжелым. Но как я ни старался распознать что-либо в митрополите Вениамине, мне это не удавалось. Он оставался как будто прежним, каким-то окаменевшим в своем равнодушии ко всему и до бесчувственности спокойным. Мне только чудилось, что в этот день он был более спокоен и задумчиво-молчалив. Прежде он больше сидел и говорил с окружающими его, – теперь он больше ходил.

Открытие суда для выслушивания приговора было назначено на шесть часов. Но около четырех-пяти стало известно, что открытие отложено до девяти часов вечера. Это опять стали растолковывать по-разному. Хотелось всем видеть в этом утешительное: если отложили, то, значит, идут большие рассуждения, значит, не все заранее было предрешено, значит, можно надеяться на что-то доброе. Но какое-то двойственное волнение возбуждалось этим отложением. Томительное ожидание неизвестного, но, по всей вероятности, нерадостного, угнетало и возбуждало одно желание: ах, как бы поскорее все это кончилось хотя бы и тяжелым, но ясным и определенным. Но против этого желания скорейшего конца восставало другое желание: как можно дольше не знать этого конца, лучше томиться в неведении ужасного.

Часов около восьми вдруг неожиданно стали нас вызывать в зал судебного заседания, – но, оказалось, к фотографу снимать нас. Вызвали сначала двух архиереев, а потом нас, судившихся по 62-й статье. Пока нас рассаживали, мы опять стали толковать это наше выделение, да еще для фотографии, в дурной знак для себя. Но скоро стали вызывать и

рассаживать не только остальных священников, но и мирян, и почти всех.

Около девяти часов вечера раздался первый звонок – предвестник скорого открытия страшных минут. Невольно екнуло сердце, рука поднялась к крестному знамени. Но сознание работало туго. Прозвенел и второй звонок, и мы потянулись в последний раз на свои места – скамьи подсудимых. Кто-то сказал, что нужно выходить в порядке: сначала митрополит, за ним еп. Венедикт, потом «смертники» и остальные. Откуда был этот приказ, я доселе не знаю, но тогда он произвел сильное и тяжелое впечатление.

Я выходил, занимал свое место, – хорошо это я сейчас (т.е. в ноябре 1922 г.) припоминаю, – с тупым сознанием, или, вернее сказать, почти бессознательно, машинально, не отдавая себе отчета в том, что происходит и что страшное имеет произойти. В эти минуты мне не хотелось смотреть на посторонних, мимо коих приходилось проходить. Но со своего места на публику сидящую я внимательно смотрел, стараясь разглядеть, нет ли кого знакомого и кем вообще наполнен зал. Хорошо припоминаю, что особенный интерес возбуждали во мне студенты Зиновьевского университета... На душе было мрачно, темно, но острой боли, ярой тоски не было. Только бы скорее, скорее...

Часть 2

В начале десяти часов вечера раздалось наскучившее за месяц «суд идет». Глаза всех устремились на входящих судей. Хотелось еще раньше на их лицах прочесть приговор себе. Но лица их по обычаю холодны и грозны. Приглашения сесть не последовало. Все стоим. Начинается чтение приговора. Первые же слова из приговора приковывают все внимание. Слышится учащенное биение сердца, какая-то дрожь пронизывает все тело, сковывается сознание, всякое чувство исчезает. Скоро ли, скоро ли моя фамилия? Произносят ее, но приговора еще нет. Слушаю, но плохо понимаю. Но вот и самый приговор, вот и моя фамилия, и после нее непосредственно – громким и повышенным голосом – Яковченко (председатель трибунала) возглашает: «Расстрелять, а имущество конфисковать!»...

Чувствую, что взоры всех обращены на нас, между прочим, и на меня. Павлуша любовно-скорбно на секунду оборачивается назад, ко мне, жмет мне успокоительно руку, как бы для поддержки и для осведомления, как я чувствую себя. На меня эти грозные слова о расстреле не произвели ошеломляющего действия; что-то темное наволоклось мне на глаза, в сознании была одна только мысль, что домой не пойду и что-то будет сейчас, сегодня, через час-другой с моей семьей. Но почему-то я не мог долго сосредоточиваться вниманием на самом себе – как будто ничего особенного я о себе не услышал, как будто я это уже знал или, во всяком случае, предвидел. Помню, я посмотрел на митрополита и мне понравилось великое спокойствие на лице у него, и мне стало хорошо за него, за себя и за всю Церковь.

Я стал интересоваться судьбой своих сотоварищей по суду, и особенно, конечно, Павлуши. Внимание мое стало вдруг острым и напряженным настолько, что я с того момента запомнил об очень многих, к каким наказаниям они приговорены, и доселе это помню. О себе совсем позабыл. Особенно я радостно чувствовал себя, когда услышал, что Павлик освобожден. Ну, думаю, будет кому утешить маму, он сумеет ей сообщить эту убийственную весть, – и на душе стало легко и спокойно. Я даже приободрился и даже, помню, повеселел.

Закончилось чтение приговора. Всем оправданным возвестили, что они свободны. Уходя от меня в полном убеждении, что на этом свете мы больше не увидимся, Павлуша обернулся ко мне, и мы с ним наскоро, не сказав ни слова друг другу, поцеловались. «Увидимся ли?» – думалось. Но

я как-то уверенно подумал: «Увидимся, – и добавил: если не здесь, то в будущей жизни».

Не могу промолчать, не отметить: как только закончилось чтение приговора, раздались многочисленные, дружные, громкие рукоплескания, как оказалось, студентов Зиновьевского университета. Ох, тяжело от них почувствовалось, досадно за них. Еще подробность: в конце чтения раздались два-три истеричных вскрикивания. Я очень порадовался, что из моих родных здесь никого не было.

В зале остались одни мы – осужденные. Как-то не хотелось смотреть друг на друга; на душе было пусто и темно, безотрадно и ко всему равнодушие. Помню, мой сосед по скамье о. Павел Виноградов, настоятель от Вознесенья, обратился ко мне с вопросом, к чему я приговорен. Я ответил ему с улыбкой. Он даже меня не утешал, сказав только: «Неужели?».

Судьи наши, закончив чтение, тоже по-видимому, чувствовали себя не особенно хорошо и так быстро побежали из зала суда к себе в комнату, что не захотели выслушать наших защитников, которые, сорвавшись со своих мест, закричали им вслед: «Мы кассацию подаем... мы заявляем... мы просим принять от нас заявление, что мы подаем кассацию...» Но судьи наши, как бы чего страшного убоявшиеся, не слушая никого и ничего, бежали и убежали, не принимая никаких заявлений от наших защитников.

Еще до выхода в зал, когда мы были в «комнате обвиняемых», стала распространяться весть, исходившая будто бы от защиты нашей, что, каков бы ни был приговор по нашему делу, защитники в порядке кассации будут добиваться отмены его. Говорили, что и расстрелов нечего бояться, ибо ВЦИК их все равно отменит.

Появившиеся в те часы-минуты защитники наши были мрачны, неразговорчивы. Мой защитник проф. Жижиленко подходил то к одному, то к другому из «серьезных», «важных» подсудимых, что-то говорил и записывал. Подошел и ко мне и говорит: «Я хочу Вас несколько проинтервьюировать. Придется мне ехать в Москву, каков бы исход процесса ни был, и там поддерживать нашу кассацию. Мы туда уже телеграфировали бывшим присяжным поверенным Соколову Н.Д. и Малянтовичу (видные адвокаты старого времени по революционным делам, – из очень красных), и они ответили согласием вести ваше дело в Главном Ревтрибунале. Мне для сего потребуются некоторые сведения о вас. Вы, как не член Правления, для кассации и для всего приговора, для пересмотра его, самый лучший повод».

Итак, заявления наших защитников о кассации не задержали наших

судей. Они ушли, убежали. Ушли и оправданные. Остались мы, осужденные. Настроение у всех, конечно, скверное, но ни у кого ни слезинки, ни вздоха. Все хоть и подавлены приговором, но без отчаяния. Сели на свои места на скамьях подсудимых. Молчим. Только среди осужденных не «смертников» слышались разговоры, очень краткие и отрывочные, вздохи. Стража все продолжала стоять, только более тесно и плотно нас окружив.

Не знаю, откуда был приказ, и мы пошли, без всякого порядка, в обычное место нашего отдыха – в комнату обвиняемых – в полной уверенности, что там никого нет. Но, к своему удивлению, а я и к радости, – видим там и оправданных, здесь же толпящихся. Я иду к своему обычному дивану, где мы с Павлушей в течение всего судебного процесса сохраняли свою провизию и сживали. Здесь я нахожу Павлика сильно и, кажется, давно плачущим. Ой, как мне тяжело в это время стало! Все мое внимание перенеслось к семье, к постигшему ее величайшему горю, – к тому, как ей тяжело будет теперь жить.

Как вдруг – именно здесь и именно в эти минуты – я ощутил и даже осознал всю тяжесть, всю горечь, безвыходность своего положения. Мне стало казаться, что я не буду больше уже жить, что это – последние минуты для прощания с миром и людьми. И как жаль, до физически ощущаемой боли жаль мне стало Павлушу и Аню. Мама, думалось мне, так будет убита, так изнеможет от горя, что она не жилец, а если и жилец, то не работница и не кормилица. Значит, вся тяжесть моей судьбины падет на старших двоих.

С какой любовью я подошел и стал утешать Павлушу! Но плачущий Павлуша бросился ко мне, и не я его, а он меня стал утешать. Сколько любви, ласки, нежности, заботливости было во всех его не столько словах, ибо слова плохо сходили с языка, сколько в жестах! Он гладил меня по голове, по руке, по спине. Уверял, что маму он сумеет утешить и успокоить, что они с Аней поступят на места, будут зарабатывать и кормить семью. Я просил его не тосковать обо мне, не раздражаться на младших братьев и сестер, ради коих им придется тяжело работать, – дать им образование и т.п. наши взаимные утешения прерывались то подходящими посторонними утешителями, то моими отвлечениями за разными справками...

Появились, по обычаю, разные слухи. Передавалось, что расстрелов не будет, ибо еврейская община, из желания привлечь симпатии православных на свою сторону, уже отправила в Москву депутацию для ходатайства о нашем помиловании. Говорили, что едет в Москву сам

Зиновьев с представлением о том же. Новицкий стал говорить мне, что за него поехали в Москву с ходатайством очень солидные делегации от различных ученых учреждений, что он очень надеется на свое помилование, и добавил, что, если его помилуют, то, конечно, и всех нас, за исключением разве митрополита.

Пришел к нам Гуревич, защитник митрополита, с исписанным листком и стал собирать подписи. Подошел к нему и я. Оказалось, что это доверенность от нас кому-то, а кому и даем не знаю, на подачу и поддержку от нашего имени кассации. Подписал и я. Очень хорошо припоминаю, что мы – смертники – вели себя гораздо спокойнее, чем прочие осужденные. Я, в иные минуты, чувствовал себя как бы героем за то, что присужден к высшему наказанию.

Пробыли мы в комнате с полчаса. Является комендант и выкликает фамилии нас, смертников, за исключением двух архиереев, и предлагает нам следовать за ним. Наступил час для настоящего прощания. Нас торопят. Я быстро прощаюсь с Павлушей; крепко целуемся. Он меня еще раз просит не беспокоиться за маму и за детишек, беречь себя и громко кричит вслед мне, уже убегающему: «Прощай, дорогой папочка!» Я не отвечаю ничего, из глаз текут слезы, – кажется, первые слезы. Я убегаю вместе с другими.

Нас выводят на улицу. Сажают в обычный грузовик. Молчание и тишина. Нет ни шуток обычных, ни слова разговора. И кругом нас все молчат. Нас окружает масса конных курсантов, и не видится ни одного человека из публики. Везут нас обычным путем, но здесь же объявляют, что везут не в 3-й, а в 1-й исправдом, где обычно содержатся все приговоренные к смерти в ожидании ее. Это известие прибавляет уныния. Едем при полном молчании. Я помню только одну фразу Новицкого, обращенную ко мне: «Вас вместе с нами к расстрелу?! А знаете ли, Вы наилучший повод к кассации».

На улицах как будто совсем нет людей. Только около Сергиевского Собора стояла небольшая кучка, из коей нас благославляют. Тесным кольцом конвоируют конные курсанты в красных фуражках; впереди и позади нас едут чекисты на двух автомобилях. С панели идущие разгоняются, встречным извозчикам шумно приказывают сворачивать вдале от нас. Как хотелось в эти минуты увидеть кого-нибудь из знакомых, услышать слово ободрения!.. Но никого!..

Перед 1-м исправдомом собрался было народ, вероятно, откуда-то прослышавший о привозе нас. Я впервые вижу эту тюрьму. Поэтому внимание от себя невольно отвлекается к внешнему. Я наблюдаю, как

разгоняют народ, как стража наша внимательно следит за нашим выходом из грузовика, боясь, вероятно, побега кого-нибудь из нас. Ведут в тюрьму. Мрачной и неприветливой показалась она мне. К тому же и на улице было темно. Через какие-то переходы вводят нас в приемную канцелярию.

Новизна комнаты, новые люди, ожидания того, что с нами будут творить, куда и как посадят, как отнесутся к нам, к смертникам, – все эти интересы минуты поглощают мое внимание, отвлекая его от сосредоточения внутри себя. В канцелярии принимает нас начальник. Конвоиры, за месяц езды с нами в суд привыкшие к нам, любезно и вполне сострадательно прощаются с нами в пожелании нам счастливой, благополучной кассации; мы их благодарим за добрые к нам отношения за все время поездок с нами.

В канцелярии снимают с нас обычный формальный допрос. На частный вопрос одного из нас нам возвещают, что «смертникам» не только не полагается свидания с родными и прогулок, но и передачи провизии от родных. Это сильно нас обескураживает. Смерть хоть и «на носу», но привязанность к удобствам жизни заставляет забыть о ней. Я сильно пригорюнился. Но тут же слышу успокоение, что дело с кассацией и с помилованием продлится в Москве не свыше двух-трех недель. Ну, думаю, это время и без передач можно прожить – не умру, а там – или смерть, или облегчение участи.

Повели нас в наши камеры в нижнем этаже, где обычно проводят дни смертники. Поставив напротив камер всех нас, стали обыскивать. Обыскивали каждого в отдельности и очень внимательно. Осматривали все узелки, вывертывали карманы, ощупывали даже ноги через голенища сапог, – светских заставляли разуваться, – отобрали подтяжки, бандаж (у Богоявленского), лекарство в пузырьках (у о. Сергия). У меня с брюк сняли веревочку, и я должен был руками поддерживать их, чтобы они не упали. После этого стали нас размещать по камерам... Первую пару – Чукова и Новицкого обыскали и повели вместе в камеру № 2; в следующей паре шел я и архимандрит Сергей (Шеин), коего я доселе совершенно не знал и познакомился с ним только на суде. Нас поместили в камеру № 3; Богоявленский оказался вместе с Ковшаровым – камера № 4, а Огнев с Елачичем – камера № 5... Доселе мы были все вместе, с этой минуты оказались в двойственном числе...

Часть 3

В камере ярко горела электрическая лампочка и обильно освещала всю неприютность ее обстановки. Камера – обычная одиночка, с обычной откидной тюремной койкой; небольшой, железный, прикрепленный к стене стол и маленький – прикрепленный также – стул-табурет. Осмотревшись несколько, мы увидели, что койка одна, а нас двое, оба не малы ростом и широки, как же лечь? Я настойчиво стал предлагать о. Сергию лечь, а сам предполагал сидя дремать. Тот не согласился, настаивая в свою очередь, чтобы я лег на койке, а он ляжет на полу. Но и для пола нужна была подстилка, коей у нас не было.

Тут подошла к нам пожилая женщина, оказавшаяся надзирательницей, очень милой и любезной. Мы стали просить ее дать нам матрац и поставить другую кровать. Она, как добрая русская сердобольная женщина, старалась успокаивать нас, уверяя что без Москвы нас не расстреляют, Москва помилует, что вот вчера какого-то большого вора по приказу из Москвы подняли наверх (т.е. как помилованного перевели из нижнего этажа, где помещаются смертники, наверх)... Скрывшаяся надзирательница вскоре вернулась с двумя чистыми простынями из парусины и объявила, что сейчас не могла она добыть ни койки, ни матраца другого, ибо все спят.

Было около часа ночи... Поуговоривши друг друга, решили лечь на кровати оба вместе... У меня появился сильный аппетит, кажется, и у о. Сергия тоже. Вынули мы с ним провизию, привезенную из суда, и я порядочно поел и как будто бы повеселел. Оказалась у нас и кипяченая вода, коей и запили. Были оба молчаливы. Отец Сергей, оказавшийся превосходным человеком, – за двое суток, проведенных с ним, я доселе Господа благодарю, – часто вздыхал и отрывочно высказывался: «Ну и попались мы!»... Или: «Бог не выдаст: помилуют...»

Я постелил постель. Хотелось помолиться Богу. Я предложил о. Сергию читать молитвы по иерейскому молитвослову, оказавшемуся у него не отобранным. Он сказал, что он привык своеобразно читать молитвы: вставлять свои слова, останавливаться и т.п. Тогда стали молиться каждый своей молитвой... На койке, кроме казенного, у нас своего ничего не было. У о. Сергия оказалась лишь маленькая подушечка, у меня узелок с провизией сухой, на что мы и положили свои утомившиеся и пули в лоб ожидавшие головушки. Легли рядышком в протяжку – он к стенке, а я с краю – тоже по соглашению.

Ночью все время горел огонь, и форточка в дверях в коридор была открыта всю ночь. Так требуется для камер смертников, чтобы надзирателю видно было все происходящее в камере и смертник не мог сотворить чего-либо недозволительного.

Спалось мне эту ночь очень плохо. Того, что сейчас придут и возьмут меня на расстрел, я не боялся ни в эту, ни в следующую ночь, чего боялись, как потом оказалось, мои сотоварищи по несчастью и соседи по камерам. Но что-то тяжелое, грустное щемило сердце; какая-то тупая, неопределенная, словам для выражения не поддающаяся мысль бродила в голове. Спалось без кошмарных снов, но беспокойно. От пережитых ли волнений минувшего дня, от тягостных ли мыслей или от боязни потревожить как-нибудь соседа я часто просыпался.

Яркое утро. Семь часов. Пробужденные ожившим днем и тюрьмой, невесело встречаем день. Каждый в одиночку молимся. Молчаливо пьем принесенный кипяток... Начинаю знакомиться со стенной литературой камеры. Печальная, тревожная, не дающая никаких надежд (литература).

В одном месте читаю: «N.N.N. (имя, отчество и фамилия чисто русские, народные, мною забытые) осужден на расстрел 16 января 1922 г».. Внизу под сим другой рукой подписано: «18 января в 10 часов вечера взят для расстрела...» В другом месте такие же две пометки, только с изменением имен и чисел. Ну, подумалось, из сей камеры путь – дороженька в могилу. Куда-то мы выйдем?..

Сменившаяся новая надзирательница-старушка несколько утешила, что хотя ни свиданий, ни прогулок не полагается, но передача провизии допускается в определенные дни. Сообщила, что сидящим уже девятый месяц смертникам-эстонцам разрешают прогулки. «Может, и вам разрешат, похлопочите...», – прибавила она. Как наивные дети, мы всему верили и за всякую соломинку самоутешения хватались.

Скоро принесли койку и матрац. Отец Сергей, не допуская меня, стал ее устроить. Плохое спанье на ней предвиделось безошибочно. Я попытался было взять ее для себя, но он не допустил, сказав, что он монах и ему не подобает нежиться... Не были мы с ним знакомы прежде, и здесь беседа у нас с ним не клеилась. Я положительно не припоминаю, о чем мы с ним говорили. Каждый думал свою невеселую думу. Только слышались вздохи – больше о. Сергия, – призывания Господа, и рука тянулась к крестному знамени. Вздохи его обратили на себя мое внимание, и я, как бы в утешение сам себе, стал говорить, что расстрелов не будет, нас помилуют и т.п., а поэтому что же сокрушаться и вздыхать? Он на это мне заметил, что его вздохи не столько от душевной тяготы, сколько чисто

физиологического происхождения, частые у него и на свободе.

Скоро поутру отперли дверь, и явился незнакомец с тетрадью в руке. Это был приговор по нашему делу, отпечатанный на машинке, тот же самый, который потом в печатном виде был роздан на Шпалерной в ДПЗ. Я было начал читать его, но так тяжело стало, так грустно, что у меня потекли слезы, и я прямо перешел к последней странице, где перечислялись мы, «смертники». Я посмотрел на порядок фамилий. Моя фамилия стояла последней. Это меня ободрило, и я повеселел. Я в то время думал, что распорядок помещения нас в списке сделан был не случайно, а в соответствии вине нашей по сознанию судей. Значит, подумал я, я считаюсь менее других виновным, и, если станут в Москве миловать, то меня-то непременно помилуют... Я быстро дал свою требовавшуюся на приговоре подпись, за мной то же сделал и отец Сергей.

Отец Сергей оказался большим любителем церковного пения, он все про себя что-нибудь напевал. Я пытался иногда подпеть ему, но это не удавалось: мы могли с ним петь только каждый по одиночке. Тогда мы решили прочитать акафист Иисусу Сладчайшему. Потом я попросил о. Сергия помочь мне отслужить панихиду. 6 июля – день именин моей покойной матери. Акафист вычитал о. Сергей, я подпевал; панихиду я служил за священника, а он за псаломщика. Конечно, ни облачения, ни кадила у нас не было. Служил панихиду я с особенным настроением. В голове теснилась мысль: еще несколько дней, и я буду вместе с моей матерью – но только там ли, где она?..

Между одиннадцатью-двенадцатью часами дня вдруг неожиданно принесли передачу – сначала о. Сергию, а потом мне. В каком бы положении человек ни находился, а телесное в нем преимуществоет. Передачи сильно порадовали нас. Правда, здесь радость проистекала не столько из того, что принесли и будут нам приносить съестное, сколько из того, что обо мне узнали, где я, и, значит, хотя несколько успокоились в семье, из того, что и впредь в эти ужасные дни будем иметь возможность взаимно осведомляться.

Особенно обрадован был припиской от жены при передаче: «Я спокойна, будь спокоен и ты...» Разумеется, ее спокойствию я не доверял, но все-таки приписка эта меня осведомляла, что как будто нет дома тоски отчаяния, что там как будто бы есть луч какой-то, хотя бы самой маленькой, надежды... Вскоре получил другую передачу от Александры Владимировны. Принес ее добрый служитель, просивший что-то вернуть обратно. Пользуясь временем, я узнал, что принесли ее две барышни. Я решил, что вторая была Аня. Воспользовавшись приходом Александры

Владимировны, я написал ей записку и доверенность на получение ею моих вещей из 3-го исправдома...

При передаче из дома оказались присланными книга Иоанна Златоуста, 6-й том нов. изд., и книга Мамина-Сибиряка, 2-й том. Я взял сначала Златоуста, посмотрел оглавление и не нашел ничего для себя занимательного. Взаялся перелистывать ее, и тут внимание ни на чем не остановилось. Положил книгу... Камера наша столь была узка, что между нашими двумя койками нельзя было свободно двигаться. Нужно было или сидеть, или лежать. Отец Сергей, пообедавши из принесенного, лег и скоро заснул. Я помялся, походил, еще раз перелистывал Златоуста, лег с отрывками бессвязных мыслей в голове и заснул.

Проснулся как будто повеселевшим. Взял Мамина-Сибиряка, надеясь легким чтением развлечься, и эта книга вывалилась у меня из рук, я и пяти строк не мог прочитать. Отец Сергей был более меня счастлив. Он взял у меня Златоуста и сразу напал на слова святителя, поучающего о скорбях и несчастиях, посылаемых от Господа человеку. Златоуст приблизительно так говорил: тебя постигло несчастье, ты просишь Господа избавиться от него, но Господь не внемлет, и у тебя за несчастьем следует новое горе... Знай, что Господь все это делает для тебя и ты в конце концов от Господа не только получишь избавление от всех горестей, но и сторицей вознаграждение...

Впоследствии, уже в ДПЗ, сколько раз я не пытался найти это место у Златоуста, так и не мог. Как будто оно куда-то из книги исчезло, или мы в те неповторяющиеся тяжелые минуты читали что-то, чего в книге не было. Тогда эти суждения Златоуста, видимо, ободрили о. Сергия, он их прочитал мне, и мы с ним на эту тему радостно побеседовали.

После этого он запел что-то из песнопений Страстной недели. Я грустно заметил: «Услышим ли мы это когда-нибудь??!» Но он бодро ответил: «Ты, отче (он сразу стал со мною на «ты»), не отчаивайся. Господь может так устроить, что мы с тобой все это услышим, и услышим в храмах наших!» Да! Но Господь ему не судил видеть себя оправданным в этих его надеждах. Его нет. А я лишь через два года услышал эти песни...

Часа в два-три-четыре пришел водопроводчик из вольных с мальчиком поправлять водопровод в нашей камере. Ее отперли. К дверям ее подошли человека два из посторонних. Начался общий разговор, – конечно, сначала с утешениями нам, а потом и о всем прочем.

Я был рад этому от Бога посланному отвлечению от самого себя. Заметно, что и о. Сергей был доволен. Работа продолжалась часа два-три, к нашему удовольствию и развлечению. Мы позабывали в эти часы о своем

положении, имея даже камеру часто открытой.

Часть 4

Часов около семи вечера старушка надзирательница, таинственно открыв окошечко в двери, передала записку с предупреждением, что передавать нам что-либо запрещено и чтобы мы по прочтении разорвали ее.

Записка была от Дмитрия Флоровича Огнева и адресована отцу Сергию. Огнев в ней приблизительно следующее писал: «Вчера при распределении по камерам двое светских оказались распределенными со священниками. Но вы, два священника, сидите вместе, а мы с Н.А. Елаличем – двое светских. Теперь, в эти тяжелые дни, быть может, последние в жизни, хочется иметь духовное пастырское утешение. Поэтому разрешите нам с вами разделить так, чтобы мне быть с Вами, а Елаличу с о. Чельцовым. Жду ответа».

Мне это письмо было неприятно. Мне так нравился о. Сергей, и так духовно отрадно с ним было проводить время, что мой эгоизм был сильнее доброжелательства к Огневу. Заметно было, что и о. Сергию не хотелось разъединяться со мной. Когда я прочел письмо и разорвал его, он спросил меня: «Ну как, отче, ты думаешь? Тебе не тяжело со мной?» Я ответил, что мне очень не хотелось бы с ним расставаться, но что, быть может, духовная нужда Огнева и наша к нему братская любовь должны побудить нас разойтись. Отец Сергей заметил: «Предоставим воле Божией. Он нас Сам устроит. Во всяком случае, мы с тобой сами ничего не будем предпринимать. Пусть Огнев действует, если ему это нужно». На этом мы с ним закончили этот неприятный для нас инцидент с письмом.

7 июля 24 июня – праздник в честь рождения Иоанна Крестителя. Мы решили служить всенощную. Я был за псаломщика, о. Сергей – совершителем. По окончании ее сели закутить; тут мы подумали, что, быть может, у других «смертников» наших не было сегодня передачи провизии из дома. Я тогда постучал в дверь и попросил старушку надзирательницу узнать у наших соседей, кто из них не имеет своего питания. Она нас уверила, что только один Елалич не имел сегодня передачи. Мы тогда с о. Сергием собрали ему от своего и послали. Ответа от него никакого не получили.

В нашем нижнем этаже было уже темно. Зажгли огонь и на ночь открыли дверную форточку. Я высунул из нее голову и, обращаясь налево по направлению к камере о. Л. Богоявленского, вызвал его. Тот быстро откликнулся. Я спросил у него, как он себя чувствует и получил ли

передачу. Он ответил утвердительно и как будто благодушно. Я намеревался продолжать беседу, но осторожный о. Л., боясь чрез это дерзкое нарушение правил тюрьмы поплатиться, поспешил пожелать мне спокойной ночи. Ответ этот я понял, содержание беседы передал о. Сергию.

У меня появился как бы зуд к говорению, быть может, для самозабвения. Я увидел в коридоре подметающего пол уборщика из арестованных. Подозвал его, дал ему хлеба и стал расспрашивать его о тюрьме. Он мне сообщил, что начальство заметно боится чего-то в связи с нашим привозом сюда, что в городе большое недовольство по поводу столь тяжелого для митрополита приговора, что будто бы на Путиловском заводе неспокойно, что идут толки о насильственном освобождении нас из тюрьмы. Эта весть, теперь кажущаяся совершенно фантастичной и чудовищной, тогда мною была принята с большим доверием; было приятно, что о нас помнят, болеют и что-то доброе хотят для нас сделать. Но в то же время настроение сейчас же и омрачилось от быстро явившегося опасения, что эти разговоры городские о нас, пожалуй, побудят начальство наше позапрятать нас куда-нибудь подальше...

Прочитали молитву и легли спать. Теперь легли каждый на свою койку, но без подушек и с подрясником вместо одеяла. Легли в полной уверенности, что и в эту ночь нас к расстрелу не потребуют. Хотя, впрочем, нет-нет да и явится вдруг мысль: а что если по телеграфу уже снеслись с Москвой и оттуда уже получен ответ о нашем расстреле? Но эту мысль я сейчас же старался гнать. И, помнится, спал хорошо.

Утром совершили обедницу, но без причащения Св. Таин за неимением их. День потянулся как-то очень длинно и мрачно-скучно. Мы с о. Сергием не раз задавали себе вопрос: почему этот второй день сидения так тяжело и уныло длится. Быть может, вчерашний день разнообразился, а в этот день было одно лишь явление – передача о. Сергию. Чтение тоже совсем не давалось. Впрочем, о. Сергей что-то листал и даже читал из Златоуста. Я снова подержал в руках Мамина-Сибиряка, и взялся за иерейский молитвослов, и какие-то псалмы машинально – более глазами, чем умом и сердцем – почитал. Больше ходил-топтался по своей узенькой и коротенькой камере. Думы невольно летели к дому и к родным. Жалость осиротевших своих сжимала сердце, слезы подкатывались к глазам и сдавливали горло.

ОтецСергий частенько вздыхал, я ему вторил. Я что-то заговорил о молитве. О. Сергей заметил: «Что значит наша молитва?! Вот там (показал рукой на окно, а чрез него на улицу, т.е. у наших родных) – там теперь

горячо молятся. Их молитву Господь услышит...» Я как-то неосторожно заметил о. Сергию, что ему нечего особенно тужить и волноваться: он один. На это он резонно ответил, что Бог вещь, где положение труднее: мое ли, у коего хотя и малые дети, но есть и подростки, на которых могут покоиться надежды, – или его, у коего две стареющие сестры без службы и средства к жизни, всю свою надежду только в нем имеющие...

Часов около 3-х дня, когда мы уже закусили, вдруг открывается дверь камеры, входит какое-то тюремное начальство и, обращаясь к обоим нам говорит: «Собирайте ваши вещи. Вы через полчаса переправляетесь в ДПЗ на Шпалерную». Как? Почему? Зачем? На эти вопросы нашей удивленной от неожиданности мысли не дается никакого ответа. Мы в полном недоумении. А так как человеку, находящемуся в горестном положении, все хочется объяснить в лучшую, приятную для себя сторону, то и мы начинаем думать успокоительно для себя. Значит, решаем, расстрелы отсрочены, иначе зачем бы перевозить отсюда, откуда возят только на полигон. Конечно, явилась мысль, что эти слова о перевозке на Шпалерную не пустой ли предлог для успокоения; не везут ли уже на расстрел? Но против этого говорило время – день, ибо на расстрел возят ночью...

Быстро собрали мы вещи. Из оказавшейся излишней провизии кое-что мы отдали нуждающимся арестантам для раздачи, и, почти одетые в дорогу, стали поджидать. Тут совершенно неожиданно для меня о. Сергей обращается ко мне с такими словами: «А все-таки, отче, неизвестно, куда нас повезут. Также неизвестно, как мы там станем жить и что с нами приключится, а поэтому поисповедуй-ка меня...» Я снял с груди своей священнический крест, положил его на подоконник, как бы на аналой, через шею спустил полотенце двумя концами на грудь наподобие епитрахили и приступил к исповеди, прочитывая выступавшие в памяти исповедальные молитвы. Отец Сергей исповедался искренне, горячо и слезно. Это была его последняя земная исповедь... После я попросил его исповедовать меня. Исповедались, поплакали оба, уже не стесняясь друг друга в своих слезах...

Вскоре явилось то же тюремное начальство и предложило нам обоим следовать за ним. В коридоре мы встретили о. Л. Богоявленского, вместе с нами отправляемого. Повели черным ходом, через сад. В дверях тюрьмы нас передали каким-то двум военным, кои должны были вести нас. Позади сада нас посадили в закрытый автомобиль – очень тесный, так что о. Л. пришлось сесть на корточки, упираясь на узлы нашего багажа. Один из наших провожавших сел рядом с шофером, а другой вместе с нами,

напротив меня.

Дорогой я все время смотрел в окно автомобиля в тщетной надежде, не увижу ли кого-либо из знакомых, но никого не видал. Отец Сергей угощал всех нас, в том числе и конвоира нашего, свежими, только что принесенными ему ягодами клубники. Завязался беспорядочный разговор с конвоиром. На начальный отказ того взять ягоды, о. Сергей заметил, что ягоды не отравлены, ибо и мы не думаем еще умирать. Тот ответил, что нас в Москве помилуют, впрочем, прибавил, что это его мнение. На наш вопрос, почему нас перевозят на Шпалерную, он хитро, но успокоительно ответил, что в 1-м исправдоме очень тесно, а начинаются большие процессы о налетчиках, и для имеющих явиться новых «смертников» нужно приготовить места; при этом прибавил, что на Шпалерной нам будет спокойнее. В последнем он был совершенно прав: на Шпалерной покой был самый настоящий, могильный... Во все время переезда меня занимала подозрительная мысль: на Шпалерную ли нас везут?! И успокоился, когда остановились на месте назначения...

На Шпалерке пропустили нас троих вместе обычным порядком чрез канцелярию и повели куда-то далеко-далеко нижним коридором. Ну, думаю, посадят где-то внизу. Сюда, по рассказам, в темные сырые камеры убирают нежелательный людской отброс, с коим хочется поскорее разделаться. Идем все время при общем молчании. Тишина всюду убийственно невозмутимая, только стук от ног гулко раздается по сводам тюрьмы. Нет ни одного человеческого лица, даже надзиратели куда-то попрятались. Это полное безлюдие мне тогда показалось неслучайным. Конечно, надзиратели оставались на своих местах – в очень уютных уголках-стрелках, где их было почти совсем не видно, но откуда они могли видеть все в пределах ими охраняемых камер...

Подшли мы вплотную к какой-то стене и стали подниматься вверх по узкой витой лестнице, с частыми небольшими площадками, – забираясь все выше и выше. Значит, не в сыром подвале буду кваситься. Поднялись на четвертый этаж. Опять стала в голову заползать тяжелая мысль: здесь, думаю, вероятно, система распределения строгостей к арестантам та же, какая показалась мне в 3-м исправдоме: важных преступников поселяют в верхних этажах. А нам, смертникам, так и нужно быть ближе к небу, куда скоро придется переселяться и о чем надо почаще подумывать. В тюрьмах мне всегда нравились верхние этажи: больше воздуха и света, виднее небо, и от всего этого как-то привольнее на душе.

На четвертом этаже привели нас к надзирательскому столу. Устало, тихим полупшепотом, но повелительно и твердо предложили нам развязать

наши узелки и показывать свои вещи. Начался обыск, и такой, какому я еще нигде ни разу не подвергался, – самый настоящий: белье все распускалось и рассматривалось до последней ниточки, пища вся перерезывалась, переламывалась и переворачивалась до последнего атома; ни одной газетной обертки не оставили, все выбросили на пол; в конверте у меня был завернут сахар с чьей-то надписью: «Будьте здоровы, живите...» и это было прочитано, но после долгого раздумья возвращено мне; отобрали были листы чистой бумаги, кем-то переданные мне на суде, и карандаш, врученный мне при прощании Павлушей, отнята была книга Мамина-Сибиряка «Рассказы», том 2-й. В конце концов всего меня ошупали, вывернули все карманы, сняли сапоги и чулки, а с Новицкого, как потом узнал, и, вероятно, со всех светских спустили брюки и оставили в одном нижнем белье.

Обыск этот, такой цинично-бесцеремонный, произвел на меня самое гнетущее впечатление. Ну, думалось, по такому началу нельзя ожидать ничего доброго на Шпалерке. А тут в довершение тяжести душевной вдруг снизу послышался чей-то горький, жуткий плач-крик, как будто кого-то били, а за ним послышались шаги бегущих, и... все вдруг сразу смолкло. Так, пожалуй, здесь и бьют?! А с нами-то, конечно, церемониться не будут, – лезли один за другим досадливые предположения...

Со мной покончили обыском прежде других. «Куда его?» – слышу спрашивают старшего. Тот посмотрел в какую-то запись и пробурчал: «В четвертый». Это, оказалось, меня нужно было оставить на четвертом этаже. И здесь, при разбивке нас восьмерых, из 1-го исправдома привезенных, и двух архиереев, здесь содержащихся, была соблюдена самая строгая предусмотрительность. Нас разместили по разным этажам, в одиночные камеры, далеко не соседние, чтобы мы не могли найти какие-либо способы для переговоров между собой. Только, вероятно, по какой-то неосмотрительности или по технической невозможности поступить иначе, Елачича и Огнева посадили рядом, о чем они узнали в конце своего сидения и чем не воспользовались. Меня, Елачича, Огнева и Ковшарова оставили на четвертом этаже, о. Сергия, Богоявленского и Чукова – на третьем, а Новицкого спустили на второй этаж, где уже сидели два архиерея. Конечно, об этом распределении мы тогда ничего не ведали и узнали о нем уже после, по прибытии своем во 2-й исправдом.

Ввели меня в камеру, номера которой я не заметил. Камера как камера: сажень ширины, два длины. Налево от двери прикрепленная к стене железная кровать с очень потрепанным мешком, в котором когда-то была солома, но от которой остались теперь только незначительные

напоминания. Можно сказать, что железные переплеты кровати были покрыты только мешком и ложе мое не хуже было ложа любого древнего пустынноика; железные переплеты врезывались больно в тело, и приходилось немало поворочаться, прежде чем приспособить свою брэнность к успокоению сонному. Приведший меня надзиратель сам обратил внимание на убожество моего ночного упокоения и сказал, что постарается похлопотать о перемене мне его. За неделю до оставления мною особого яруса, другой надзиратель, сам, по собственному почину, пообещал мне улучшение моей постели, но тоже ничего из этого не вышло. Сам я не возбуждал дело о матраце, сначала думая, что недолго – недели две, не более – придется пробыть в этой камере, а, по прошествии этих недель, каждую ночь ожидая вывода из этой камеры или на тот свет, или в другое место. Так и проспал на этом ложе сорок две ночи.

Напротив койки у другой стены помещался небольшой – четверти в полторы в квадрате – железный стол с таковым же стулом, – оба крепко прибитые к стене. За столом, в углу самом, у окна, клозет с умывальником и водой в баке наверху. У входной двери на стенке вешалка с двумя крючками и маленькая полочка.

Эту обычную камерную обстановку я сразу даже не заметил, рассмотрел ее лишь впоследствии. Хотя и видел, что койка лишь одна, но почему-то стал ждать, не посадят ли кого-нибудь ко мне, и все прислушивался, не ведут ли кого-либо ко мне, или не сажают ли по соседству. Чтобы лучше слушать, я прекратил начатое было естественное в такие минуты прохаживание по камере и сел на конец койки, поближе к двери. С настроением поджидания соединялось какое-то душевное успокоение от того, что положение в тюрьме определилось, по крайней мере, недели на две, да и солнышко ярко светившее вносило в душу мир и благодать. Во все свои сидения в тюрьмах я всегда боялся нижних – темных и сырых – камер, поэтому и здесь был доволен высоким этажом и солнцем в камере...

Как я провел первый день на новом месте, я забыл. Помню, что страха за жизнь не испытывал, опасений насчет репрессий в тюрьме пока не было. Беспокоило лишь то, что тишина в тюрьме стояла абсолютная: не только никто не подходил к камере, но не было слышно ничьих голосов, ни шагов... Помню лишь, что сильно меня занимала мысль добыть из 3-го исправдома оставшееся там мое имущество и священные книги. Я позвонил надзирателю, этот очень осторожно и неохотно посоветовал мне подождать: он-де пойдет, справится, что и как мне предпринять. Через час приносит клочок бумажки и карандаш и предлагает на имя начальника

ДПЗ написать заявление с просьбой истребовать ему для меня мои вещи, точно и подробно переписав их. Через пятнадцать-двадцать минут он уносит от меня написанное заявление... Кажется, в течение этого дня я больше ходил с отрывками самых бессвязных мыслей...

Внешнюю жизнь можно охарактеризовать одним словом «изоляция». Ни свиданий, ни прогулок, ни выходов из камер. Даже двери камеры открывались лишь два раза в неделю – для выпуска меня в комнату отделенного надзирателя, чтобы взять мне присланную из дома передачу, – это по понедельникам и пятницам от девяти до одиннадцати часов ночи, – и по средам, чтобы в открытую надзирателем дверь передать ему заранее мною приготовленную обратную передачу. Даже форточка в двери всегда была на запоре со вне, из коридора, откуда закрывался тяжелым чугунным футляром и стеклянный глазок в двери.

Надзиратели не имели права разговаривать с нами. Бывало, позвонишь, подойдет надзиратель к двери, станет как-то полубоком к тебе, чтоб его лица не было видно, на вопрос ответит неохотно, односложно, и уже сам ничего не спросит и, тем более, ничего своего не скажет. Я сам не видал, но потом мои соузники передавали, что у камеры каждого из нас стоял часовой с ружьем; он всегда подходил к двери, как только форточка открывалась для подачи нам пищи или кипятку. Чуков даже слышал, как при смене, вероятно, часового разводящий давал ему наказ стрелять «не попусту». Часовые стояли не более двух-трех дней, – до получения из Москвы телеграммы о задержании приведения в исполнение приговора о расстреле нас.

В эти первые дни очень часто, – впоследствии гораздо реже, – за нами, за нашим поведением в камере наблюдали. Вдруг бывало отодвинут чугунный заслон с глазка-оконца в двери, и не успеешь подойти к двери, как уже наблюдающий глаз исчезает и заслон задергивает оконце. Зачем эта слежка была нужна – обычный ли это порядок из опасения самоубийства или переговоров с соседями и даже побега, или специально за нами следили, – этого сказать не могу. На первых порах эти заслонные щелкания сильно нервировали и заставляли всего опасаться, а потом я к ним привык и почти уже не обращал на них никакого внимания. О нас же эти наблюдения могли одно лишь начальству доносить: все-де молятся и по камере ходят.

О том, насколько сильно подействовала на надзирателя молитва митрополита Вениамина, свидетельствует такого рода донесение со Шпалерной на Гороховую, что нам передавали официально осведомленные о сем лица: «Митрополит молится по четырнадцати часов

в сутки и производит на надзирателей самое тяжелое впечатление, почему они отказываются от несения ими их обязанностей в отношении к нему». Не этим ли приходится объяснить то, что за последние две недели были у нас частые перемены в надзирателях?

Сидение без гуляния тяготило больше дух: им сильнее подчеркивалось твое исключение, как бы заживо, из списка людей сего мира и дела. Тело же пользовалось воздухом в достаточной степени от открытого окна. Я его не закрывал ни на одну минуту, даже боялся и не знал, можно ли его закрывать. Да и погоду Господь Бог послал в то лето самую для узников благоприятную. Жаркое солнышко сменялось частыми дождиками, и не было ни жары с духотой, ни холода с сыростью. Благодаря Богу за такое благоприятное для нас растворение воздуха, я часто думал об огородных моих работниках (семейные мои имели в то лето до ста сажень земли под огородом) и жалел, что им приходится часто мокнуть и зябнуть и что тяжелые их труды не покроются желательными результатами. Так оно и вышло: на огородах многого не выросло от излишней сырости и мокроты.

Часть 5

Итак, всякие разговоры с нами надзирателям были запрещены. Но люди – всюду люди. С одной стороны, они любопытны и потому любят порасспросить, особенно при непрерывном суточном окарауливании, в мрачном одиночестве и жуткой тишине; с другой стороны – по душе-то мы, русские, все хороши, доброжелательны и сердечны: душа влечет оказать или даже сказать что-либо доброе, приятное, утешительное – особенно смертнику. И на Шпалерке, дня через два по водворении меня туда, надзиратель сам без моего к нему вызова, открывши дверную форточку, шепнул мне: «Не бойтесь, расстрелов не будет». – «Почему вы так думаете? Разве известно что-либо?» – спросил я изумленный и обрадованный... «Да так, по всему это видно». Хотел я его что-то еще спросить, но он быстро захлопнул дверцу, прибавив лишь: «Будьте спокойны...» Пустяшное известие, ничего в нем определенно приятного не было, а как радостно после него чувствовалось. Естественно, появилось бодрое настроение и какая-то, правда, недолгоживущая, уверенность в благоприятном решении нашего дела.

Особенно сердечно относились ко мне две надзирательницы, одна сменявшая другую. Обычным предварительным к надзирателям подходом стал, вскоре по водворении, подарок им чего-нибудь съедобного из изобилия приносимой провизии. Сначала они отказывались принимать, но моя настойчивость и предложение, передать это голодающим арестантам, если не хотят взять себе, победили их сопротивление. А дашь булку, невольно что-нибудь спросишь и ответ получишь – очень уклончивый, данный полушепотом и после предварительного внимательного обзора кругом, нет ли кого-либо подсматривающего или подслушивающего.

У них же всегда первым вопросом бывало: откуда я, из какой церкви, есть ли у меня и какая семья. Одна из надзирательниц даже стала мечтать, как бы помочь мне установить сношения с семьей. Другая, вероятно, в желании мне оказать приятное, сообщила, что сама она прочитала в газетах о состоявшемся будто бы помиловании нас. Конечно, сообщалось все это отрывками и в микроскопических дозах. И ждешь бывало двое суток, когда она на третьи сутки явится снова на дежурство, чтобы узнать и порасспросить обо всем поподробнее. А за это время радость от первичного сообщения заменяется тоской от разложения его на составные части, полные печали и безнадежности.

Очень любовно относился ко мне один из надзирателей, незадолго до

выхода из особого яруса приставленный к нам. Недельки за две до выхода отсюда, вечером, он открыл форточку и тихонько сообщил, что сейчас он читал в газетах о нас – о том, кого не помиловали, и что моей фамилии там нет. «Да знаете ли вы мою фамилию?» – спросил я его. Но он быстро захлопнул форточку, сказав, что сейчас здесь, т.е., надо думать, около моей камеры, начальство и что он потом ко мне зайдет.

Восторг и радость. Но сейчас же, – эти минуты хорошо сохранились в моей памяти, – они сменились противоположным настроением. Думалось: значит, будут и расстрелы? А быть может, и я среди обреченных? Ведь он (надзиратель) моей фамилии не знает. А как тяжело на душе от мысли, что все-таки кого-то из нас расстреляют, кого-то больше не придется видеть. В эти минуты даже любовь к собственной шкуре с эгоизмом как будто замолкли и притаились. Близость насильственной смерти другого не только умаляет, но даже почти совершенно прекращает радость от сознания собственной безопасности.

Часа через два действительно надзиратель явился у моей форточки и сообщил, что сейчас читал газету и там помечен непомилованным митрополит и еще трое. Но кто же? Фамилий он не запомнил, но опять уверял, что моей нет.

Самыми приятными, с нетерпением ожидаемыми днями на Шпалерке были понедельник и пятница – дни получения передач. Нетерпеливо они ожидались не ради получения пищи, но из ожидания получить весточку о своих дорогих: о их настроении, о переживании ими их горя, и что-либо, хотя между строк, прочитав и о своей судьбе: не известно ли там чего-либо, не напишут ли о сем... Думаешь, гадаешь, что тебе могут написать и что хотелось бы прочесть в их письмах. Часа за три-пять бывало начинаешь трепетно поджидать, когда щелкнет ключ в двери и тебя позовут к отделенному надзирателю за передачей. Обдумываешь, как читать письмо, откуда его чтение начинать: с начала ли, где идет перечень посылаемых вещей, или с середины, где что-либо сообщалось о семье. Особенно эти обдумывания были важны по истечении двух недель сидения в ДПЗ, и вот почему.

В течение первых двух недель еще не ожидалось никаких определенных вестей из Москвы. Затем – в эти же недели я получил точные сведения об Аниной поездке в Москву (о чем речь ниже) и ее результатах. Поэтому в дальнейшем хотелось знать наверно и подробнее, что и как решено о нас в Москве. А письма семейных в первой, самой длинной и обстоятельной своей части меня не удовлетворяли. В ней подробно перечислялось, что и в каком количестве пересылалось мне из

провизии.

Проверить полученное по списку письма – никогда не удавалось. Вся провизия передавалась не в семейной упаковке, а развернутой, разрезанной, смятой, набросанной в какую-то неопределенную кучу, где сахар лобызался с селедкой, булки не брезговали соседством, и притом самым близким, с киселем и т.п. Да и не давали времени просмотреть получаемое, побуждая скорее взять и унести из комнаты отделенного, где провизия выдавалась, все так, как было проверкой набросано. Дадут записочку препроводительную к передаче со многими пометками и заставляют здесь же в комнате ее прочитать, да все торопят, чтобы поскорее читал, забирал свою поклажу и убирался в свою камеру.

Начинаешь читать письмо в нервном настроении, и в такой тяжелой обстановке в глазах замелькает перечень присланного. Пропустить его боишься из опасения, как бы в нем не было вкраплено от семейных чего-либо интересного и важного для меня, – вкраплено с целью замаскировать сообщение перечнем провизии. И только глазами перейдешь к тем строкам – паре, другой, кои в конце письма уцелели от карандаша и ножниц тюремной цензуры, как письмо берут из рук и тебя выпроваживают. Бывали случаи, когда и малюсенькой записочки не удавалось прочитать до конца.

А между тем хотелось не раз, а двадцать раз прочитать каждую фразу, вдуматься в каждое слово, найти в нем какой-то кажущийся сокрытым смысл и содержание. Думалось, что, при известной семейным строгости тюремной цензуры и при невозможности отсюда для них писать открыто и явственно, они между строк или иносказательно и метафорически сообщают мне, что нужно в письме найти, понять и раскрыть. Поэтому хотелось все слова и фразы письма запомнить, заучить даже самое расположение не только слов в фразах, но и порядок фраз самих в письме.

Понятно отсюда, почему бывало приходилось заранее обдумывать, откуда и как начинать читать письмо, чтобы важнейшему в нем уделить большее время и не досадовать сильно, если не успеется все прочитать. Впоследствии я решал начинать чтение письма с середины его, где по показанию глаз кончался перечень. Но, помнится, ни разу не выполнил этого решения. Возьмешь в руки письмо, в глазах зарябит, разволнуешься, внимание охватится волнением, мысль разбегается и... мало в голове остается от прочитанного.

Придешь в камеру, начнешь воспроизводить дорогое-важное, что как будто бы прочитал в письме, и ничего определенного не установишь и не выяснишь: как будто бы вот это прочитал и как будто этого там понять

нельзя. Хочешь вспомнить фразу или отдельное слово, и тут ничего не выходит. И тяжело-тяжело станет на душе оттого, что ничего определенного из письма не вынес, не получил. И снова начинаешь обсуждать, с чего и как тебе в следующий раз начинать чтение письма.

Получение писем от семейных – это самое отрадное и веселящее в тюрьме. Я не знаю положительно никого из арестантов, кто бы горячо не ждал этих писем, не читал бы их страстно и нервно, не хранил бы их, как большую драгоценность. В них радость в тюремной жизни, чрез них связь с миром и беседа с дорогими лицами, а в такой изоляции, какова в особом ярусе, письма – это все. Быстро бежишь за ними, а тебе их даже в руки не дают, а предлагают читать по положенному на столе и поддерживаемому руками начальства, да еще ежесекундно поторапливают тебя.

Еще задолго начинаешь предполагать, загадывать, что тебе напишут. Эх, думаешь, если бы тебе написали вот это или то-то. В своих загадываниях составишь содержание почти всего ожидаемого письма. И как после этого тяжело чувствовать, когда в письме полученном прочитаешь лишь перечень присланного, а остальное в письме окажется или умело зачеркнутым, или совершенно оторванным, или отрезанным.

Конечно, самым интересным в письме были хотя бы самые прикровенные сообщения о ходе нашего дела в Москве и о благополучии всех семейных. И не удержишься бывало от слез, когда никаких вестей об этом в письме не найдешь. Особенное значение я придавал припискам в письмах от семьи слов: «будь здоров», или «будь спокоен», или даже «мы живы и спокойны». Если, думалось, они желают мне здоровья и спокойствия, то значит, они этим самым говорят мне хранить себя, – но для чего? – только, конечно, для дальнейшей жизни; значит, им что-то известно доброе по ходу нашего дела в Москве. Если же говорят о своем спокойствии, то и это знак добрый: значит, нет у них волнений за мою жизнь.

И как бывало тяжело, когда этих приписок в письмах не содержалось. Значит, думалось, дома известно что-нибудь недоброе обо мне. А тут как раз почему-то случилось, что и письма два-три ко мне писались не женой, как это обычно бывало и должно было быть, но дочерью Шурой и даже мальчиком сыном – Семей. Ну, думалось, вести из Москвы, определенно, дурные, жена слегла в постель и даже писать от горя не может. Впрочем, в Шурином письме на меня ободряюще подействовала фраза: «чаще меняй белье». Чаще меняй, – значит видят твою жизнь продолжающейся и в дальнейшем. Правда, пишет Шура – значит, мама больна. И тут приятное о себе соединилось с мрачным о маме и тоже, следовательно, о себе.

Часть 6

Кажется, о письмах семейных ко мне все сказал. Теперь о своих письмах. Писать домой – целое событие. Заранее обдумываешь, как бы подобрать такие слова и фразы, расположить бы их в таком порядке, чтобы в самых обыденных выражениях высказать нужное, свое сокровенное, чтобы сообщения и вопросы свои, более или менее щекотливые и способные вызвать у цензуры подозрения, вкрапить в перечень предметов обратной передачи и сделать так, чтобы дома поняли, а в тюрьме пропустили. Несколько раз бывало в уме своем пересоставишь письмо свое.

Я с давних времен даже в научных своих работах не прибегаю к черновикам, а пишу прямо, что называется, набело. Сначала разработаю в уме своем план самый общий, потом разобью его на мелкие части, и когда не только продумаю мысли, но подберу примерно и фразы, тогда приступаю к письму. Так и в письмах из тюрьмы – по несколько раз в голове пересоставишь письмо, подбирая нужные слова, устанавливая фразы на нужном и для нахождения по назначению в безопасном месте.

После этого звонил к надзирателю, он приносил карандаш и бумагу, и я писал записку. Когда составлял содержание письма и писал записку, настроение в это время у меня бывало спокойное; за этой нужной работой мысли отвлекались от мрачной действительности предсмертного бытия и мною овладевало состояние покоя работающего человека.

Но как начнешь собирать белье и посуду для отсылки домой, то как будто собираешь в дальнюю дорогу дорогих сердцу. И грустно, грустно станет на душе. Хотя обрывками, хотя и не в ясно осознанных фразах и понятиях, в голове начинают носиться полумысли: вот-де, вы – вещи мои – идете домой, а я остаюсь здесь. И вы покидаете меня, и я остаюсь в еще большем одиночестве. Этого настроения я не переживал никогда ни прежде, ни после – ни в одной тюрьме. Там была всегда надежда, что рано или поздно и я буду дома; здесь – в особом ярусе – эту надежду я боялся иметь. Она мне казалась обманчивой мечтой.

Первая передача домой пошла без моего письма. Я еще до перевозки в особый ярус слышал, что на Шпалерке есть какое-то особое ужасное отделение, где между прочим не разрешается писать писем. Оказавшись здесь в такой строгой изоляции, с такими ужасными надзирателями, я решил, что это и есть самое строгое, суровое место. Но все-таки, приготавливая обратную передачу, я спросил дежурного надзирателя, можно

ли при передаче послать письмо. Надзиратель, еще молодой человек, очень суровый и грозный, ответил мне, что он не знает и спросит отделенного. Через некоторое время приходит и говорит, что никакой записки писать нельзя. «Как же мои вещи пойдут? Ведь их могут перепутать с другими?! Разрешите хоть фамилию написать», – просил я. Но услышал в ответ, что «мы уже знаем, как сделать». После этого разговаривать было бесполезно. Да дня за два до этого разговора я уже получил подобный отказ.

Я было вздумал узнать, нельзя ли послать письма домой. Пользуясь дежурством доброго надзирателя, казалось, сочувствовавшего мне, я, вызвав его звонком, спросил, можно ли написать и послать домой письмо. Он сразу и категорично ответил мне: «Ну, конечно, можно». Я попросил его принести мне карандаш и открытку. Уходит, а минут через пятнадцать-двадцать возвращается и говорит, что никаких писем мне не разрешается писать. «Почему?» – спрашиваю. «Вы сами знаете, к чему вы присуждены», – огорошивает он меня. Сильно он смутил меня этим своим ответом. Ну, думаю, с жизнью все покончено, ты – живой мертвец. Прощайте, родные; прощай, работа среди людей. Едва ли увижусь с кем-либо на земле.

Вот поэтому отказ передать письмо при обратной передаче мне показался самым естественным, и просил о нем больше так, для очистки совести. Я знал, как тяжело будет семейным не получать от меня ни одного слова, мною написанного. Мне еще тяжелее было переживать воображаемое страдание родных от неизвестности обо мне. Но приходилось все переживать. Я бы и при следующей передаче не решился бы писать, если бы отделенный, при получении мною от него передачи, не сказал мне, что я могу писать письма домой с перечнем обратно присылаемых домой вещей, а о себе могу написать только, что я жив и здоров.

Чем объяснить это разрешение, я не знаю. Думаю, что время свое берет и со всем примиряет. Но как легко стало на душе, когда выяснилась возможность писать письма-записочки домой. Я знал, какое успокоение они внесут в невыразимо тяжелое горе семейных. Мне захотелось послать домой уже целую открытку по почте. Я забывал, или, вернее, не хотел думать, что и в открытке я большего написать не могу, чем что пишу при передаче, что если и напишу что иное, цензура тюремная вычеркнет. Мне хотелось просто писать и писать.

И вот, воспользовавшись однажды при получении передачи добрым расположением отделенного, я спросил его о возможности для меня

послать домой открытку. Он ответил утвердительно и даже, как показалось мне, сочувственно ко мне отнесся. Открытка у меня была с собой в книжке Златоуста, случайно уцелевшей от обыска. И я написал одну за другой две открытки. Написать-то разрешили, но отослать-то не отослали, хотя в письмах я так был осторожен и официально сух и короток, как только возможно.

Во всякой тюрьме, а в одиночке тем более, следят за чистотой камеры. На другое же утро по водворении в камеру был я опрошен: нет ли у меня в камере мусора. Дня через два пришел отделенный и довольно любезно приказал соблюдать чистоту. На мои слова, что у меня чисто, он пальцем указал на пыль и паутины, оставшиеся мне от моего предшественника по камере, и сказал, что нужно даже ежедневно мыть пол и прочее. Переслал он мне тряпку, и принялся я за мытье. Как будто я этим делом прежде никогда не занимался и не знал, как к нему приступить. Налил в чайник воды из умывального крана и обильно полив пол, стал тряпкой вытирать. Но дело не клеилось: вода по асфальтовому полу переливалась с места на место, а пол не приобретал ни чистоты, ни лоску. Это было в среду.

В субботу повторил то же, но уже вышло лучше. Воды на пол не лил, а лишь мокрой тряпкой вытирал пол. Снял подрясник, засучил рукава рубашки. Но как обращаться с тряпкой? Я видывал дома Шуру (дочь), как она мыла пол, становясь на колени. Мне это показалось неудобным, я счел за более целесообразное нагнуться и в согбенном положении вытирать пол. Особенным неудобством было вытирать под койкой. А как быть с клозетом? Решил и его мыть. Сначала как будто и неприятно было, но вспомнил маму (жену), которая едва ли не ежедневно совершала эту операцию. И принялся мыть и отчищать клозет во всех его частях. И то, как оказалось впоследствии, не до всего тряпицей дошел. Дня за три до выхода моего из этой камеры, зашедший ко мне надзиратель-отделенный во многих местах у клозета и вверху его нашел пыль, паутину и грязь и сделал надлежащее внушение.

Мытье пола доставляло мне возможность уйти от самого себя, забытья. Физический труд, действительно, лучшее лекарство от умственной неврастении, он успокаивает и ободряет. Каждый раз, приступая к мытью пола, я думал: ну, это в последний раз, до следующего мытья я в этой камере не доживу. И как-то после мытья пола снова становилось тяжело. Ну, вымыл пол, чисто и свежо в комнате. А что это мытье пола не есть ли как бы обмывание самого себя как покойника?! Если не с чистым телом, то от чистой камеры не уйду ли я к Господу? И начнет бывало фантазия работать... Пол мой не долго сохранял чистоту и

свежесть: быстро от жары высыхал и снова покрывался несущейся со двора через окно пылью.

Были на Шпалерке и радости, и притом неожиданные. Я уже писал, что 5 июля, уезжая из бывшей военной тюрьмы (3-го исправдома) в трибунал, я все свои вещи оставил там. Из 1-го исправдома я писал письма с просьбой переслать мне вещи, но ничего не вышло. На другой день по вселении на Шпалерку я опять задумал добыть, вернуть свои вещи. Видно, живой, в каком бы положении ни находился, все думает о жизни, как бы смерть близко ни стояла за спиной у него. Недаром чахоточные, накануне явно и для них самих обозначившейся смерти своей, любят мечтать о зеленой травке и строят планы на далекое будущее. Так и я.

О предстоящей, возможно, скорой смерти и думать не хотелось. У меня почему-то была почти уверенность, что раньше истечения двух недель со дня объявления приговора – нас не казнят. В это время и нужно готовиться к смерти. Это приготовление к смерти с первого до последнего дня у меня распадалось на два пункта: нужно духовно к смерти себя приготовить и, во-вторых, собрать свои все вещи и устроить так, чтобы все их можно было домой отослать и ничего нужного и ценного в тюрьме не осталось. В силу этого последнего пункта я всегда волновался, когда мне из дома пересылали какую-нибудь не нужную мне вещь или не требующуюся лишнюю пару белья.

А для духовного приготовления мне нужен был молитвенник с Евангелием и запасные Св. Дары, что было оставлено в 1-м исправдоме. Что же нужно было предпринять, чтобы получить все это? Через частное письмо достать их нечего было и думать. Я вызвал надзирателя. Он посоветовал мне написать официальную записку на имя начальника ДПЗ с перечислением оставленных и подлежащих к пересылке мне вещей.

Написал я в субботу. И какова была моя радость, когда в воскресенье среди дня, забыв совершенно про свое письмо и, во всяком случае, не ожидая столь быстрого его исполнения, я вдруг увидел, как растворилась моя дверь и мне передали знакомый узелок. Расписавшись в его получении, я стал перебирать присланное.

Книжка-Каноник оказалась здесь, а Св. Даров не было. Как тяжело почувствовалось отсутствие их! Что ж – неужели и умереть придется без Причащения? Неужели Господу неуютно, чтобы я причащался? Или я такой уж недостойный иерей? И сейчас против этих мрачных мыслей восставали противоположные. А не говорит ли Господь чрез эту пересылку Св. Даров, что я еще поживу и на свободе причащусь? Так в борьбе двух противоположных суждений и настроений работали голова и

сердце мое.

Так и в этом случае, так и в других. Что бы ни услышал или ни узнал бы радостно-приятного, скоро это же начинали омрачать и изгонять из сознания обратные, тяжелые мысли и предположения, и наоборот. Я не знал, что и предположить в объяснение неполучения Св. Даров. И только в ноябре 1922 года от посаженного уже во 2-м исправдоме в 39-ю нашу камеру помощника начальника 3-го исправдома я узнал, что когда там было получено из ДПЗ требование на мои вещи, то, собирая их и просматривая, нашли и мешочек со Св. Дарами, узнали их и не решились почему-то отослать их, а оставили там, положенными в канцелярии в шкаф. К моему сожалению, Св. Дары там не сохранились. Когда я в декабре 1923 года по выходе из тюрьмы, обратился в 3-й исправдом за ними, их мне нигде не могли отыскать. Так они и пропали. Примечание июля 1926 г.

Хорошо припоминаю, что, получив каноник и Евангелие, я вторую половину воскресенья – первого воскресенья из сорокодневного сидения в ДПЗ – провел в бодром настроении. Я занялся чтением Евангелия и молитвой. До сего в ДПЗ я мог молиться кратко, прочитывал лишь наизусть выученные молитвы. Теперь я прочитал акафист Иисусу Сладчайшему, а вечером – канон Божией Матери и все вечерние молитвы. И легко, легко было на душе. Молитва в ДПЗ доставляла мне величайшее утешение и подкрепляла. Только там я познал истинную молитву, и молился всегда так, как именно нужно, чтобы молитва доставляла успокоение и духовно удовлетворяла.

Тяжело, тяжело делается на душе, слезы не держатся в глазах, станешь молиться, никак себя не заставишь вникать в смысл читаемых слов молитвы, какая-то как бы невидимая сила отталкивает тебя от молитвы, и в руках, и в ногах ощутишь как бы тяжесть, усталость и боль, в голове – кружение. Но все это стараешься преодолеть, и мало-помалу молиться становится легче, а потом молитвой совсем увлечешься, забудешься и даже кончать ее не хочется. И уходишь с молитвы успокоенным, ободренным, с надеждой на все доброе, без всякой боязни смерти и мучений, с забвением о семье, со свалившимся с души камнем, как будто никакой беды тебе не предстоит.

Скоро каноник оказался не в состоянии духовно меня удовлетворять. Подошла суббота. Захотелось отправить всенощную и пришлось это сделать пением лишь знакомых церковных песнопений. Долго я боролся с боязнью не только не получить, но и затерять иерейский молитвослов в случае пересылки его из дома ко мне по моей о сем просьбе. Наконец,

желаньем иметь его была побеждена боязнь; на риск написал и, к своей радости, через неделю получил. Слава Богу! Теперь я стал совершать и всенощную, не только все выпевая, но и вычитывая; всенощная выходила почти самой настоящей – уставной, и обедница – недурной. В иерейском молитвослове я отыскал ектении о избавлении во узах сидящих, и чтение их доставляло мне опять большую радость и отраду. Раз или два в течение дня я прочитывал их за разными дневными молениями своими.

Так прошло воскресенье первое. На другой же день – в понедельник – я столь же неожиданно получил первую передачу из дома. Я почти не надеялся получать передачи из дома во время своего сидения в качестве смертника. Кажется, вполне логично я рассуждал, зачем власти Советские разрешат подкармливать домашней провизией тех, коим не ныне-завтра предстоит смерть; для наибольшей питательности могильных червей разве... К тому же рассчитывал, что о переводе меня на Шпалерку домашние еще не узнали, а если и узнали, то передачу смогут переправить мне сравнительно нескоро.

Но часа в четыре-пять дня, в совершенно для передач необычное время (как оказалось впоследствии), незаметно, неслышно подошедший к камере отделенный надзиратель открыл дверь и спрашивает меня о моем имени, отчестве и фамилии и отдает узелок с передачей. Какая радость охватила все существо от этой немой, но и многоречивой в то же время весточки от людей жизни. Значит, не совсем я еще умер для мира, с ним связи еще не порваны; хотя через вещи, вначале только знакомые, а впоследствии ставшие родными, можно сноситься с семейными. Думалось, хотя и неуверенно, что и домашние посылкой этой свидетельствуют мне, что они знают о том, что я еще жив и не расстрелян.

Я был почти уверен, что домашние, привыкшие за прежние мои сидения в тюрьмах разных к величайшей осторожности при передачах, не положат никакой записочки, тем более, в первую передачу. Но страстное желание иметь ее превозмогало над соображениями разума о невозможности ей быть там, и я с неудержимой энергией и удивительной внимательностью принялся отыскивать ее. Но и не найдя записки, был несказанно рад самой передаче.

Во вторник новая приятная неожиданность. Лежу я на койке с бесконечными смутными мыслями – гаданиями: расстреляют или нет. Вдруг открывается форточка в двери и слышится голос: «Приготовьтесь идти в ванную». От полной неожиданности такого приглашения я не сразу понял, что мне предлагается. Переспрашиваю и только тогда усвою смысл. Как приятно было помыться! Ведь за все время более чем

месячного тюремного жития только однажды и то плоховато мылся. Но не эта приятность была приятна – отрадно было хоть на несколько минут отрешиться от своего одиночества; думалось, что в ванной комнате я увижу хоть какое-нибудь человеческое лицо, перекинусь парой-другой слов. Но где ванная? Как к ней поведут? Собрался, жду.

Через полчаса щелкает замок, открывается дверь и дежурный выпускает меня. Показывает на лестницу: спускайся-де вниз. Все это продельвается молча с обеих сторон. Внизу ждет меня другой надзиратель – банщик. Кругом ни души, впереди тоже никого не видно, кроме надзирателей, которые одиноко и уткнувшись в свои дела-бумаги, сидят на перекрестках-углах лестниц. Назад оглядываться стесняюсь, дабы не получить какого-либо неприятного замечания. Тихо и жутко. Только стук от ног, ступающих по чугунному полу, гулко раздается эхом. Ведет меня надзиратель долго и далеко.

Что-то я было у своего проводника-банщика самое безразличное и неважное спросил. Он, оглядываясь кругом и назад, неохотно и односложно промурчал мне. Несколько раз потом я ходил с этим проводником в банную, и весь наш разговор с ним ограничивался лишь моим вопросом о том, мылся ли и когда Владыка-митрополит, и лишь однажды он сказал мне, что, по сообщению газет, наше дело передано во ВЦИК.

Доводил банщик до отделения, где подряд было расположено пять-шесть одиночных камер с ванной и душем; впустивши, запирает ванную на ключ и оставлял мыться в одиночестве, как и сколько угодно. Я ни разу не замечал, чтобы он подглядывал в дверной глазок, имеющийся и тут, за моим поведением в ванной. Спасибо ему за то, что он не смущал и не тревожил хотя во время мытья. Ванная – очень хорошая. Мылся я в ней всякий раз с удовольствием, как будто я не в тюрьме, отправляя эти общеобывательские операции.

Через неделю снова меня пригласили в ванную. Ну, думаю, это хорошо: ванная каждую неделю. И в дальнейшем более или менее регулярно ванная предоставлялась. Возвращались мы с банщиком в камеру так же тихо и сумрачно, как и шли.

Сколько раз мне хотелось увидеть кого-либо из своих в этих путешествиях, но никого не видал. Только в последний раз я встретил по пути из ванной идущим туда Божоявленского и мог даже расцеловаться с ним. Но это было уже в день отправления нас во 2-й исправдом. Шпалерка встретила нас мрачно и подозрительно, выпроводила же, побаловав на прощание доброй ванной.

Итак, начавшееся в понедельник доброе настроение поддерживалось и во вторник. Я разохотился к дальнейшему. Среда, четверг, – ничего, все обычно. Но в пятницу я получил великую радость.

В пятницу я с половины дня стал ожидать передачи, рассчитывая по примеру понедельника и по образцу других тюрем, что мне ее принесут в камеру и среди дня. Но часы шли, а передачи все не было. Мрачные мысли поползли в голове. Да будет ли передача? Быть может, лишь первую передали, и то в виде исключения, а последующие не допускаются. Не разрывается ли связь с миром и через передачи, как ее не допустили мне через письма? С такими мыслями я пробыл часов до десяти вечера, когда щелкнувший дверной ключ возвестил мне о приходе кого-то. Входит надзиратель и приглашает идти за передачей. Куда идти? – Вниз, в комнату отделенного, где раздают передачи.

Радостный, с сильно бьющимся сердцем, бегу. Вхожу в комнату отделенного в надежде встретить кого-либо из своих. Но в комнате, кроме отделенного, – ни души. На полу громадный ворох бумаги оберточной от уже разобранных передач. На прилавке кучей беспорядочно сложены всякие продукты. Спрашивают мою фамилию, дают книгу для расписки в получении передачи. В книге только одна строка с моей фамилией открыта, а что ниже и что выше ее – все закрыто бумагой, так что видеть росписи и фамилии других получателей совершенно нельзя. Впоследствии появилась даже особая папка с отверстием на одну строку для росписи в ней получателя. Абсолютная изоляция простиралась и сюда, чтобы подчеркнуть полное наше одиночество и тем отягчить и без того нерадостное положение смертника.

Передачу дают мне сложенную в самом безобразном, хаотичном беспорядке – не только все изрезано, измято, запачкано, но сброшено на скатерть – что, как и куда попало. Но разбираться ли в этом? Не передают ни одного клочка не только белой простой бумаги, но даже и советской газеты. Собираю всю массу наложенного и бегу наверх. Письма никакого не дали, да я его и не ждал, убедившись из всего предшествующего, что никакая переписка с миром живых людей невозможна.

С нервной дрожью в руках, у себя в камере начинаю рассматривать присланное. Смотрю салфетку – один узел развязан и два его конца болтаются, а другие два еще завязаны. Взявшись за не развязанную сторону, ощущаю руками бумажку. Что это значит? Нервно развязываю и... о чудо! Письмо от семьи. Читаю и какая радость! Сколько раз я перечитывал это письмо. Я его заучил наизусть. В нем сообщалось, что сын Павел работает где-то по очистке и переноске плугов – значит, семья

не останется без куска хлеба. И какая за это благодарность Господу, не оставляющему нас без попечения Своего!

Особенно неожиданно было сообщение, что дочь Аня уехала вместе с Юлией Семеновной в Москву. Уж никоим образом я не предполагал, чтобы кто-либо решился хлопотать за меня, попавшего в столь важные и опасные государственные преступники. А тут еще Аня – семнадцатилетняя девочка – в ходатайцах! Конечно, она лишь представительница страдающей семьи, а хлопотать, просить будет кто-то другой, имеющий в высоких московских сферах связи и надеющийся на силу их. Но как же это? Юлия Семеновна, но кто она? Много и долго я ломал голову, гадая об этой Юлии Семеновне. Попадал мыслию и на ту Юлию Семеновну, которая ездила действительно, как впоследствии я узнал, и больше всего на ней мыслию своей останавливался, но до конца сидения на Шпалерке эта «Юлия Семеновна» оставалась загадочным иксом.

И сейчас (т.е. в феврале 1923 г.), когда то время далеко отошло, я считаю день получения этого письма, при таких исключительных условиях самого тщательного просмотра даже дна бутылки из-под молока и при недопущении в камеру смертника даже малюсенького клочка всяческой бумажки, – одним из самых светлых и радостных дней всей моей жизни. Ко мне приходит письмо целое, положенное так открыто, почти на виду, – положенное как будто для того и так, чтобы его непременно нашли и прочитали! Я в этом увидел то, что одно только в этом и можно видеть и что никакими случайностями объяснить нельзя. Я увидел, что Господь меня еще не покинул совершенно, что Он сделал так, что самые зрячие и прыткие просмотрщики не доглядели и так чудесно пропустили ко мне это письмо. Для чего Господь устроил это? Чтобы поддержать и подкрепить меня в эти исключительно тяжелые дни жизни. Эти мои мысли были подкреплены через три дня таким же явственно чудесным образом.

Я пришел за передачей и мне было подано письмо от семьи. Но это было только начало с безынтересным перечнем посылаемого. Я как-то машинально, больше для себя, чем вслух, заметил: «А где же конец письма?» Услышавший отделенный тоже совершенно машинально, как бы не сознавая делаемого, обращается к валяющейся на полу куче мусора из бумаг и веревочек и подает мне два клочка от присланного мне письма. Эти клочки, как не пропущенные моими цензорами, были оторваны и брошены, как вредные для моей изоляции.

Как все это произошло? Кто побудил надзирателя сделать что-то

невероятное? Как он мог сам по себе сделать противное себе и тому, что им было сделано сознательно и, с его точки зрения, правильно и законно? Какая-то неведомая сила его обратила как бы в маньяка, машину. И как он мог из большой кучи мусора очень быстро – через какую-нибудь минуту – добыть два клочка именно моего письма? Как они там не завалялись и не затерялись? Кто-то, т.е., конечно, Господь Бог, творил все это... Из этих двух клочков я узнаю, что поездка Ани в Москву увенчалась добрым успехом и что дома все поэтому очень спокойны.

Часть 7

После этих двух чудесно полученных и так быстро одно за другим следовавших писем у меня явилась почти полная уверенность, что Господь не хочет пока моей смерти и я буду еще жить. Эти два письма окрасили радужными надеждами всю мою жизнь смертника. Они дали мне основание надеяться и, следовательно, силы переносить Шпалерку. После них я ожил. И какие бы тяжелые минуты мне впоследствии ни приходилось переживать, как тоска одиночества ни охватывала меня, как бы ни казались мне резонными все доводы остро и мрачно работающего рассудка о неизбежности для меня расстрела, эти два письма сейчас же всплывали в сознании, и на душе становилось легче.

Я не знаю, что бы было со мной, смог ли бы я так терпеливо и совершенно благополучно перенести эти исключительно убийственные сорок дней Шпалерки, если бы не было этих писем и молитвы. Эта последняя после писем стала еще более усиленной, благотворно действуя на меня и поднимая дух, успокаивая сердце... Все Господь творит. Ему я обязан и безгранично благодарен за дарование мне жизни в это второе мое рождение на земле и первое воскресение из мертвых. Слава Богу за все. Ему хотелось бы отдать себя всецело.

На другой день пребывания на Шпалерке, проснувшись утром, я был увлечен сильным шумом и гулом от многих человеческих голосов, несущимся со двора тюремного. Я сразу определил виновников его – гуляющих по двору арестантов. И очень сильно потянуло к окну: влезть и посмотреть. Я хорошо знал, что выглядывание в окна в тюрьмах строго преследуется, но соблазн был так велик!

Взгромоздился я на пыльный подоконник, смотрю, но, по своей близорукости, плохо разбираю. Вижу среди гуляющих много лиц в священническом одеянии. Но кто они? Некоторых узнаю, но большинство не узнаю. И радостно, и тоскливо на душе. Радостно эгоистически: не один я в клетке запертой, – много нас, а «на миру и смерть красна». А грустно, как обычно всегда грустно при виде арестованных, а тут каких еще арестованных! И за что арестованных? Ведь за веру и за Церковь... Занятие наблюдения мне понравилось: оно отвлекло меня от самого себя, от мрачных, тупых дум, страшных ожиданий.

Первый день наблюдения прошел благополучно, и на душе от этого занятия было легче. Поэтому и на другой день в этом удовольствии не мог себе отказать. И тут все благополучно сошло. Но на третий день я,

вероятно, стал более смел и менее осторожен.

И вдруг я вижу часового с ружьем, упорно смотрящего в мою сторону и что-то кричащего. Мне почему-то показалось, что эти крики не по моему адресу, и я продолжал смотреть. Но далее вижу: часовой подымает ружье и прицелом его направляет в мою сторону. Опять не думаю, что я своей персоной возбуждаю такое внимание стража, но на всякий случай схожу с окна и ложусь на койку в ожидании выстрела в кого-то. Но выстрела не последовало, а минут через семь-десять открывается в моей двери форточка и слышу голос доброжелательного ко мне надзирателя: «Вы ведь без очков?» – «Да», – отвечаю... «Ну вот, я говорил им, что это не Вы». – «Но в чем дело?» – «Ведь Вы в окно не смотрели?». Не мог же я скрыть и чистосердечно признаться, что в окно я смотрел и для этого надевал очки, которые обычно в камере не носил. На это я получил любезное предупреждение, что если еще раз меня заметят у окна, то в наказание могут перевести в самый нижний этаж, где очень сыро, мрачно и темно. «А Ваша камера, – добавил он, – очень хорошая».

Давши слово – держись. И я недели три совершенно не подходил к окну и даже не испытывал соблазна – к окну меня не тянуло. Но потом стал размышлять, что если за просмотр в окно и посадят вниз, то беды в этом большой не будет: всего-то сидения остается день-другой. Денька два еще посмотрел в окно и снова попался отделенному, проходившему по двору и меня заметившему. На этот раз я получил от него грозное замечание и больше после этого к окну я уже не подходил.

Не забуду я никогда и Сергиева дня (5 июля по ст.ст.). Накануне я лег спать в свое обычное время. Долго не засыпал. Что-то тяжелое было на душе. Вдруг слышу: раздался гулкий удар колокола – один, другой и т.д. Что же это за благовест? Откуда и почему в такую позднюю пору (вероятно, было уже часов одиннадцать-двенадцать ночи)? И... вспомнилось. Ведь завтра память преподобного Сергия Радонежского, и благовестят в Сергиевском соборе, где храмовой праздник, а собор совсем близко от тюрьмы. Завтра там праздник и созывают православных к ночному богомолению. И на душе стало совсем, совсем тяжело: на воле праздник, верующие идут в храмы помолиться, а я... здесь, запертый, без молитвы храмовой, без Причащения... Вспомнилось, что, будучи на свободе, я гадал в этот день съездить в Сергиеву пустынь. И сильно, сильно потянуло к молитве. Я встал и полуодетый отслужил молебен преподобному Сергию. После этого лег и быстро заснул.

Утро прошло обычно – по-тюремному. Часов в двенадцать с половиной дня вдруг открывается форточка в двери и дежурная

надзирательница подает мне небольшой сверточек в красном платке и как-то взволнованно, полупшепотом говорит мне: «Возьмите скорее. Тут что-то вроде Причастия. Осторожнее. Не пролейте». Благоговейно беру, с трепетом душевным разворачиваю. В платочке небольшой ящичек позлащенный, а в нем только что в храме за Литургией освященные Св. Дары – Тело, Кровию Спасителя напоенное. Отделяю себе следующую, как казалось, часть. Заворачиваю снова, как было, и жду прихода за ящичком.

Через полчаса приходят за ним, но уже две незнакомые женщины в сопровождении благоволившего ко мне надзирателя, за несколько дней перед тем переведенного от нас в другой этаж. Женщины хотят взять от меня ящичек, но он со словами, что женщинам не полагается прикасаться к Святыне, забирает его сам и на моих глазах спускается с ним вниз по лестнице (моя камера 182 была расположена почти совершенно напротив лестницы).

Я остаюсь со Св. Дарами. Но что делать? Сейчас же и принять их? Но я не готов, да и пообедал уже. Решаю оставить до завтра. Но доживу ли? Решаю, что Св. Дары, завернув в чистую бумажку, положу в укромное местечко, и если ночью придут за мной для расстрела, то первым долгом возьму Св. Дары и потреблю их. Если же этого не произойдет, то Св. Даров мне хватит дня на четыре-шесть.

Этот неожиданный подарок очень обрадовал меня. Меня очень волновало и огорчало до сего дня, что меня могут расстрелять, не давши мне возможности причаститься. Исповедовался я у о. П. Левицкого в 3-м исправдоме в день переправки нас на Шпалерку. А причащался лишь на свободе, почти два месяца тому назад. А тут вдруг присылают Святое Причастие. Как радостно и торжественно было на душе! Это преподобный Сергей прислал.

Но скоро же стали появляться и другие, противоположные мысли, совсем не радостные. Стало думаться: зачем прислали Св. Дары теперь (я не знал, конечно, тогда, что прислали их из Сергиевского собора по ходатайству Владыки митрополита, с разрешения тюремного начальства). Не узнали ли на воле о печальном исходе нашего дела в Москве и нас напутствуют на смерть. Ведь как раз исполняется вторая неделя после окончания нашего процесса. Но если так, то почему всем прислали? Неужели всех к расстрелу? Но это выйдет тяжелее Московского процесса, где из одиннадцати приговоренных только пятерых расстреляли. Но сам обвинитель Смирнов на суде заявил, что наш процесс менее серьезен, чем Московский. И вдруг окажется, что у нас исход будет печальнее

Московского?! Не может быть этого! Значит, присылкой Св. Даров к расстрелу нас не готовят. А, быть может, к расстрелу?! Ведь всего я знать не могу... Вот и началась борьба между двумя направлениями в рассуждении и настроении.

Конечно, наступающую ночь я ожидал с тревогой, тревожно и проводил ее, ожидая, что вот-вот отворится дверь и возьмут меня куда-то далеко. Так и следующую ночь проводил. Но это была тревога не из-за боязни смерти, а от тяжелого сознания смерти от расстрела, быть может, при предварительных издевательствах и глумлениях, чего так много было на суде и что естественно было ожидать и, конечно, не в меньшей степени и пред расстрелом и в момент его. Но Св. Дары, причащение их сильно бодрило и даже успокоительно примиряло со смертью. Хотя умру, но все же со Христом через причащение Его Тела и Крови.

Причащался я дней пять подряд, и это было радостно и отрадно. День на Шпалерке обычно распределялся так. В семь-восемь часов утра вставал, вычитывал медленно все утренние молитвы и канон дневному святому недели; это продолжалось около часу. После этого ходил из угла в угол по камере, лежал, читал Евангелие или Иоанна Златоуста. В двенадцать часов – обед и чай, опять лежал, ходил, прочитывал акафист Сладчайшему Иисусу, а через небольшой промежуток прочитывал акафист Божией Матери. В пять часов ужин и чай, прочитывал канон покаянный Спасителю, молебный Божией Матери и, отдохнув немного, вечерние молитвы. Под праздники совершал перед вечерними молитвами всенощную, а утром в праздничные дни – обедницу. Нередко, бродя по камере, выпевал все, что знал наизусть из церковных песнопений.

Обычно после хорошей молитвы наступало хорошее духовное успокоение, а нередко переживались долгие минуты высокого религиозного подъема и всецелой отрешенности от земного и плотского, с искренней преданностью себя воле Божией.

Кажется, я исчерпал описанием всю фактическую сторону жизни на Шпалерке. Остается коснуться самого главного: душевного состояния, жизни внутренней. Она вся стояла под одним – всегда гвоздем в голове стоявшем и сердце щемившим – вопросом: расстреляют или нет. Вопрос этот был в высшей степени неотвязчив, назойлив. Что бы я ни делал, чем бы ни старался занять себя, он неотступно мучил меня. Именно мучил. Возьмешься за Евангелие, он мешает понимать, а Златоуста я долго не мог даже читать. И только письма его к Олимпиаде меня несколько отвлекали и развлекали. И тут прочтешь три-четыре строки – и опять незаметно отдаешься старой неотвязчивой мысли, читаешь и не понимаешь.

Только на молитве я – и то не сразу, не скоро – позабывался. Грустно, тяжело на душе, как-то темно, безотраднo, состояние какой-то безотчетной тоски, чего не выразишь словами, не втиснешь ни в какие определенные понятия и формулы. Станешь на молитву – и чувствуешь, как будто тебя какая-то неведомая сила отталкивает от нее, страшно не хочется молиться, произносишь слова, а в голове все тот же мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Читаешь и не понимаешь, перечитываешь по два, по три раза одни и те же слова молитвы и – только так себя приневоливая – наконец-то освобождаешься от своего мучителя, на душе становится тихо, убогoтворенно, и кончаешь молитву успокоенным и, пожалуй, даже радостным, – нашедшим как будто благоприятный ответ на этот вопрос и готовым хоть сейчас идти на смерть. Только тюрьма дала почувствовать и пережить истинное наслаждение, успокоение и радование в молитве и от молитвы.

Я прежде не раз слыхивал, что одиночные заключения сами по себе даже без страха не ныне-завтра быть казненным, доводили немало людей до сумасшествия. Прежде это было для меня лишь фраза, – теперь я понял всю самую подлинную, настоящую ужасную правду ее. Тюремное одиночество легко и естественно может довести до сумасшествия. Нас, смертников, спасала от этой беды вера в Божий Промысл и молитва.

Еще: не раз прежде в беседах с учениками и студентами, да со многими даже церковными людьми, я доказывал и старался всячески обосновать мысль, что молиться нужно не только тогда, когда я почувствую в себе позыв, тягу и расположение к молитве, ибо при таком условии, пожалуй, и совсем не будешь молиться, отвыкнешь от молитвы, – а тогда, когда тебе нужно по времени дня, по сложившимся обстоятельствам, по ходу твоей духовной жизни; нужно непременно заставлять себя помолиться, ибо результат молитвы, начатой по принуждению, сторицей вознаградит тебя.

Но прежде эти мои рассуждения были более теоретическими силлогизмами. Теперь я на себе все испытал, и притом в исключительных условиях. Поэтому категорически и самым убедительнейшим образом утверждаю, что если бы я не принуждал себя к молитве в эти тяжелые дни жизни, то я бы не молился, ибо, вероятно, не дождался бы этого молитвенного настроения; а без молитвы я если бы и не сошел с ума, то не вышел бы из ДПЗ со здоровым телом и крепким духом. Без молитвы всякое горе неутешно, всякая неудача чрезвычайна. Ложь, какой-то диавольский навет, что для молитвы, и только для нее одной, требуются «настроения» и конфузятся принуждения.

Почему не конфузятся и не боятся, а даже требуют принуждения для проявления и развития других способностей и отпращиваний душевной жизни? Никто никогда не становился художником или артистом своего, того или иного великого служения без предварительного принуждения со стороны других людей или самого себя. Любитель – самый способный и талантливый – своего искусства, хотя бы с самых пеленок, – он непременно принуждался хотя бы для выработки и установки техники своего искусства. Никакое душевное наслаждение – пением, музыкой – не поддается виновнику его вдруг, сразу или свыше – оно творится, но всегда с понуждением предварительным. И я только Бога благодарю, что, принуждая себя молиться, я вышел из сорокадневного подсмертного состояния без особенных дефектов в области умственной жизни.

Я уверен, что и ночи – большую часть – я спал сравнительно спокойно и крепко благодаря вечерней, всегда продолжительной и всегда меня успокаивающей молитве. Тяжесть мрачных дневных мыслей на ночь меня покидала, и я освобождался от их кошмарного действия. Не помню, чтобы и во время сна я тревожим был какими-нибудь тревожными сновидениями.

Часть 8

Очень нередко всплывало в памяти все происходившее и говоренное во время суда. Конечно, больше всего вспоминалось, что я говорил или что обо мне говорили на суде; из всего припоминаемого начнешь, бывало, делать то печальные, то радостные выводы. По инстинктивному желанию успокоить себя, я старался приводить на память по преимуществу все доброе и для меня благоприятное, в такую же сторону старался объяснять и все дурное и неприятное, происходившее на суде. Первые две недели я чувствовал себя лучше, чем последние. Меня уверяли, и я верил, что ранее двух недель после приговора не закончится наше дело рассмотрением в Москве и оттуда ранее этого срока не придет никакого ответа. К тому же вести так чудесно попавших мне в руки двух писем из семьи сильно поддерживали бодрость духа. Все же способное печалить сильно и мрачно тревожить я отгонял от себя, боролся против него, стараясь, даже принуждая себя не помнить, забыть его. На второй же день по переводе в ДПЗ я под расписку получил печатный обвинительный приговор, но читать его я не мог. Слишком это чтение тяжело было для меня. Мне тяжело было даже видеть приговор. Прочитал я его только перед самым выходом из особого яруса, когда было объявлено мне о замене расстрела пятью годами тюрьмы без изоляции.

Настроения у меня, особенно в первые две недели, менялись, чередовались через день: один день смотришь на все и оцениваешь все розово, ожидаешь для себя только благоприятного; следующий день – мрачный, тоскливый, грустный. Если сегодня мысль работает бодро, подбирая только приятные для меня факты, слова и т.п. и благоприятно их для меня комбинируя и оценивая, то на другой день – та же самая логика с еще, кажется, большей убедительностью уясняла неизбежность расстрела. И когда она особенно работала в этом последнем направлении, на душе становилось даже спокойнее: коли смерть неизбежна, то чего же печалиться и зачем грустить?!..

Начиная с конца второй недели сидения на Шпалерке, настроение стало заметно изменяться у меня в сторону все большего и большего уныния и грусти. Вот-вот, не сегодня, так завтра придет известие из Москвы. Радостное ли? Но какие основания надеяться на это? И начнешь бывало в сотый раз обсуждать и переоценивать все, что казалось, могло утешать и радовать меня. Но сейчас же пессимистическое и мрачное брало мысль мою в свою власть и начинало выходить, что «не надейся, свет мой,

по-пустому». И с каким бывало нетерпением ожидаешь дня передачи из дома, когда получишь из дома письмо, а в нем, быть может, что-нибудь радостное и утешительное о своей судьбе. И каждое слово записочки полученной обдумываешь, сопоставляешь и т. п. Ищешь в нем хоть каких-нибудь намеков на доброе или тяжелое для себя.

Почему-то особенно тяжело мне бывало с утра часов до четырех-пяти дня. Ничем бывало себя не займешь, не заинтересуешь... Я старался заставлять себя больше лежать, дремать. А тут, как-то уже во второй половине сидения, вышло распоряжение начальства, чтобы к восьми часам утра койка была убрана и чтобы никто на ней не лежал до обеда. Что тут было делать со столь длинным утром?

Представляя всю мучительность бессонной ночи, я старался днем не спать или только дремать. Я со слов многих знал, что расстреливают по ночам: зимой с вечера, а летом – на утренней заре. Ночи в июле были коротки, и это опять было большим благом. Ложиться я старался позже, и так как рассвет начинался рано, то я спокойно и засыпал: если с вечера оставили на койке, значит утром не расстреляют. Зато с вечера бывало прислушиваешься ко всякому гудку мотора, к шагам в коридоре, к звяканию ключами в дверях соседних камер. Однажды я совсем было уже решил, что час мой пришел. Я уже лег и почти задремал. В камере уже стемнело. Вдруг слышу звякание ключа в замке моей, именно моей, камерной двери. Зачем ее отпирают в такой поздний час? Ответ мог быть только один и самый печальный. Я привстал, перекрестился и приготовился идти. На душе было как-то совсем спокойно; какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, но быстро же и захлопнулась, и я услышал только слова: «Извините, мы ошиблись...» Вероятно, водили кого-то из соседней одиночки гулять вечером и, при водворении его на место жительства, ошиблись камерой².

Отчего же в эти сорок дней тяжело так чувствовалось и мрачные мысли овладевали мной? Теперь (в феврале 1923 г.), когда я вспоминаю перечувствованное и пережитое и в уме хладнокровно анализирую все это, я могу так ответить: тяжело было не от того, что скоро могу умереть. Нет! Я мыслил, что мне уже 52 года, что жизнь, моя, можно сказать, уже прожита, что какое громадное количество людей умирает, не доживши до этих лет, и т.п. Тяжело было, что я умру ни за что, ни про что. За веру и за Церковь? И тогда и теперь я отвечаю на это почти отрицательно. Конечно, нашим процессом надеялись унижить веру, подорвать авторитет духовенства, разорить Церковь. Но в моих отношениях к изъятию церковных ценностей этого стояния за веру было очень мало. Было больше

борьбы за золото и серебро церковное, за имущественное достойное и права Церкви. А стоит ли за это умирать? Тяжело за это умирать...

Тяжело умирать, как и теперь сидеть в тюрьме, от сознания, что и знаний научных и жизненных у меня достаточно, и сил умственных и физических не занимать стать, и желания работать, и именно в это бурное время и совсем не в направлении контрреволюционном, у меня немало. И вдруг смерть... Смерть-жертва? Но для кого она нужна? Кого она побудит к подражанию? Да и чему в нашем деле подражать? Смерть мученика? Но за что? За ценности вещественные? Не велика цена такой смерти...³ А тут сейчас выплывали мысли о семье, о той (т.е. о жене), которой во всю семейную жизнь на долю выпало так много страданий и горестей, о малых детях, о их духовной незрелости и материальной необеспеченности.

Старался постоянно приводить себе на память слова Псалмопевца, что дети праведного не останутся нищими и голодными. Но то дети праведного, а я разве за правду страдаю, за веру? Да, действительно, я ни в чем не повинен, в чем меня обвиняли на суде и так сурово наказали. Но вся моя прежняя жизнь со всеми ее грехами и неправдами, разве не взывала об отмщении мне? Не хочет ли Господь за мои грехи покарать детей моих?! Вот эта-то последняя мысль, до которой я часто доходил, особенно угнетала и давила меня. Из-за меня страдают и еще тяжелее будут страдать ни в чем не повинные дети мои?! Да это сознание тяжелее всякого физического наказания и страдания! И умереть при мысли, что дети будут тебя обвинять в их жизненных страданиях и горестях, казалось мне самым величайшим Божиим наказанием, и тяжело, очень тяжело было.

Конечно, постоянной была и мысль о моей еще неподготовленности к смерти и к будущей жизни. Грехи за прожитое время один за другим вставали передо мною, и я бросался к молитве. Правда, я не грабил, не убивал, но только ли это отрицательное требуется для чистоты нравственного сознания и делания, тем более от священника?! Но тут сейчас же всплывали примеры милостей Господних к падшим из Евангельской истории по их молениям к Нему, и я опять ободрялся и светлел. Вера сильно поддерживала, молитва подкрепляла, и я не падал духом. С течением времени мысль о смерти не только не пугалась будущих мучений, но их как бы совершенно не страшилась. Очень нередко, в конце сидения в ДПЗ, умереть казалось легким и даже желательным, – именно теперь, при совершенно несправедливом ко мне суде, при горячих постоянных молитвах, при обилии пролитых мною, и особенно за меня, слез, – и умереть через расстрел, то есть все-таки

мучеником. Но тут же вдруг всплывали, как бы перед глазами, все семейные мои, которых страстно, целостно любил, и опять какой ужасной начинала казаться грядущая – не ныне, завтра – насильственная смерть. Плотские привязанности родства осиливали, и духовная радость от мысли о смерти исчезала.

Тем не менее, я все более и более сживался с мыслью о предстоящей мне смерти и стал окончательно себя готовить к ней. Дней за пять до выхода из особого яруса, я заставил себя прочитать «Отходную». Как было тяжело вначале читать себе самому последнее «прости». Слезы капали из глаз, слова не поддавались пониманию. Но потом я увлекся хорошим сердечным содержанием «Отходной» и кончил ее совершенно успокоенным. На второй день вечером меня уже что-то потянуло к этой «Отходной» молитве, и я ее читал с восторгом и упоением. На третий я уже не читал ее, ибо получил от надзирателя нелегальное уведомление, что среди четырех, коим расстрел не отменен, моей фамилии не значится. Хотя всецело я не доверял этой вести, хотя мне все еще представлялись многие возможности для сомнения в отдаленности для меня смерти на неопределенное время, но все-таки, при наличии этой вести, я считал вызовом Господу Богу читать себе «Отходную»...

Возможно, что в значительной степени благодаря «Отходной», да и, вообще, к концу сидения в ДПЗ установившемуся у меня примирению со смертью, я как бы совсем отошел от жизни, все более и более позабывал о семье и о ее горе без меня; я как-то ушел в себя, в свои мысли о будущей жизни, я стал как бы действительно живым мертвецом. Поэтому, когда 114 августа было объявлено мне постановление московского ВЦИКа о замене расстрела пятью годами тюрьмы, то я отнесся к нему как-то бесстрастно, оно не произвело на меня особенно радостного впечатления. У меня явилось как бы даже недовольство и разочарование: вот-де, готовился, готовился к смерти, и ее отменили.

Весь день я ходил по камере, как бы не понимая значения этого постановления для жизни моей и недовольный тем, что придется изменять жизнь со всеми мыслями, суждениями и настроениями. И только к вечеру этого дня и особенно на следующий день, после свидания с семейными, я начал понимать и оценивать происшедшее под углом зрения начинающегося нового, – я стал как бы воскресать к новой жизни. На другой день ко мне пришли на свидание родные семейные. Меня вызвали и провели к ним. Я шел, опять-таки не понимая, кто и зачем пришли, зачем меня тревожат. Никакой радости не испытывал я, что вот сейчас, сию минуту я увижу своих дорогих родных, буду с ними разговаривать. Я

встретился и поздоровался с ними холодно, не знал, о чем с ними разговаривать, и не был недоволен, когда свидание наше прекратили. Неудивительно, что я на них произвел впечатление почти что ненормального человека.

И только придя со свидания к себе в камеру, оставшись наедине с собою, я стал мало-помалу приходить в себя, стал правильнее оценивать происшедшее, вспоминать лица и разговор на свидании. И хорошо помню, что, по прошествии каких-нибудь пятнадцати-двадцати минут по окончании свидания, я никак не мог воспроизвести всех подробностей разговора, ни лица жены и бывших с нею детей, даже не мог припомнить, кто же из детей был сейчас у меня на свидании. Так значит, я отрешенно от жизни, в каком-то полусознательном состоянии, в полузабвении провел свое первое свидание с родными. Я виделся и говорил с дорогими мне лицами, но душой и мыслями я был не с ними...

Не так я отнесся и вел себя во время второго свидания, бывшего у меня в этот же день, часа два-три спустя после первого, тоже с детьми, другими. Когда меня вызвали на свидание, я прежде всего увидел, что одежда моя очень рвана и истрепана, и я постарался ее прикрыть рясой; в первое свидание я этой изношенности одежды не замечал и на нее не обратил внимания. Я был рад и доволен, что пришли дети на свидание, и мне хотелось с ними долго, долго говорить. Я их выпрашивал с большим воодушевлением, и главным образом о том, о чем говорил во время первого свидания с женой и что меня тогда мало интересовало и волновало... С этого второго свидания я пришел уже другим человеком, как бы выздоравливающим к новой жизни. Я был рад и восторженно стал думать о предстоящей мне, хотя и через пять лет, свободной трудовой жизни. И эти предстоявшие мне пять лет тюрьмы казались очень непродолжительным сроком, который должен скоро пройти, и после них начнется-де снова настоящая трудовая жизнь.

Священномученик Сергей

Будущий новомученик родился 30 декабря (ст.ст.) 1970 года в деревне Колпна Новосильского уезда Тульской губернии. Он получил во святом Крещении имя святителя Василия Великого, память которого совершается Церковью через день – 1 января. Василий был десятым по рождению ребенком в семье коллежского секретаря Павла Васильевича Шеина и его супруги Натальи Акимовны. Воспитание юноши было пропитано благодатным духом церковности, сам он незадолго до своей мученической кончины говорил: «Я в Церкви с детства, постоянно около Церкви вращался, с ней сроднился».

К монашеству и священству Господь привел Своего избранника незадолго до его мученической кончины. Начиная с 1893 года молодой выпускник Училища правоведения Василий Шеин последовательно занимает ряд ответственных административных должностей. Он состоит помощником обер-секретаря в Правительствующем сенате, помощником статс-секретаря в Государственном совете, а в 1913 году от своей родной Тульской губернии избирается в члены Государственной Думы IV созыва. Будучи убежденным монархистом и честным русским человеком, он примыкает в Думе к фракции националистов и умеренных правых, уклоняясь, впрочем, от активной политической борьбы и работая в Комиссии по церковным делам. Все это время, полное соблазнов и искушений для нашей интеллигенции, Василий Павлович остается верным сыном Святой Церкви и заботится, по мере своих сил, о ее утверждении.

Общее направление деятельности Думы было, безусловно, чуждо Церкви и Самодержавию, «но любящим Бога вся поспешествуют во благое» (Рим.8,28), и Василий Павлович стремится извлечь максимальную пользу для Церкви в тех обстоятельствах, какие попустил Господь. Забегая вперед, можно заметить, как с каждым годом Господь оставлял Своему избраннику все меньше земного. 1913 год – радеющий о благе Церкви мирянин и государственный деятель, 1917-й – мирянин, церковный администратор, секретарь Поместного Собора, 1920-й – монах и священник, 1922-й – мученик Христовой Церкви. Стремительно, подобно тому, как многие его современники отходили тогда от Церкви, Василий Павлович Шеин входил в ее жизнь все глубже и глубже, оставаясь в этой спасительной глубине неуязвимым для разыгравшихся на поверхности бурь. И его слова, сказанные палачам перед самой голгофой: «Я ни с кем не борюсь, только с самим собой», – являются опытно выверенной

формулой движения его души, ибо даже дозволенные средства земной борьбы теряют всякую цену и смысл вблизи от осязаемой реальности Христова Креста.

В 1917–1918 годах Василий Павлович Шеин состоит членом Поместного Собора Российской Церкви. Его многолетний административный опыт оказался полезен: он несет ответственное и хлопотное послушание секретаря Собора.

Приняв осенью 1920 года монашеский постриг с именем Сергей, в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского, будущий священномученик, вскоре рукоположенный во священника и затем возведенный в сан архимандрита, назначается в апреле 1921 года настоятелем Петроградского Патриаршего Троицкого подворья на Фонтанке. Ему в то смутное время приходилось сполна нести тяготу настоятельства.

О том, в каких условиях приходилось отцу Сергию проходить свое нелегкое послушание, свидетельствует его письмо от 13 сентября 1921 года наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Крониду, в котором отец Сергей сообщает о том, что «благодаря Господа Бога и за молитвы преподобного Сергия» на подворье все благополучно. «Не волнуйтесь, – пишет он далее, – многими тревогами о подворье и подворской братии. Уповаю, что преподобный пропитает негодных своих монахов. В большой комнате поставил плиту, кафельную. Надеюсь помаленьку и что-нибудь варить на ней братии». Митрополит очень охотно разрешил совершать молебны преп. Сергию с иконою на домах. В каком тяжелом положении находилось тогда вверенное отцу Сергию подворье, видно из того, что у монахов не было денег даже на устройство печки в большой подворской церкви и жили они лишь на подавание верующих.

Тягота настоятельства усугублялась долгом семейным: на иждивении отца Сергия находились две стареющие сестры без службы и средств к существованию, в нем одном полагавшие свою надежду и опору. Показательно, что к монашеству отец Сергей отнесся так, как он относился ко всему в жизни, – очень серьезно и добросовестно. Пятидесятилетний, перенесший недавно тяжелую болезнь (позже при обыске в 1 Петроградском исправдоме у приговоренного к расстрелу отца Сергия отберут пузырек с лекарством), светский прежде человек, он нес крест своего иночества ревностно и ответственно. Горя духом, отец Сергей был, по его собственным словам, лишь слабой физической нитью привязан к маловременной земной жизни.

Добрый пастырь и лицо, известное еще по прежнему времени, настоятель Троицкого подворья архимандрит Сергей приглашается в церковное Общество православных приходов – организацию, во многом надуманную, не имевшую в церковной жизни Петрограда реальной силы и авторитета. Членство и должностные обязанности (одного из товарищей председателя) отца Сергея в Обществе были номинальными. Возможно, что изначально благая идея не оправдала себя и сами собрания членов Общества скоро приобрели характер непринужденных встреч-бесед на церковные темы. В конце концов архимандрит Сергей вынужден был подать в Общество заявление с просьбой, за невозможностью для него принимать участие в делах правления, товарищем председателя его не считать.

Гораздо более привлекала отца Сергея духовная, «мистическая», по его собственным словам, глубина церковной жизни. Кстати, одной из причин выхода отца Сергея из правления Общества православных приходов явилось совпадение собраний правления с торжественными богослужениями в церкви, пропускать которые он не мог и не желал. Большой любитель церковного пения, человек литургической направленности, отец Сергей предпочитал околоцерковной суете благую часть богослужения и молитвы.

23 февраля 1922 года постановлением ВЦИК было узаконено насильственное изъятие всех драгоценных церковных предметов, не исключая священных сосудов. Узнав о том, что предстоящее изъятие ценностей все же будет, вопреки здравому смыслу, произведено в принудительном порядке, митрополит Вениамин отказался благословить верующих на какое-либо содействие изъятию.

В это время, 24 марта 1922 года, в петроградской «Правде» появилось письмо за подписью двенадцати священников: Красницкого, Введенского, Белкова, Боярского и других, в котором авторы – в основном лидеры так называемой «живой церкви» – обвиняли остальное петроградское духовенство в контрреволюционности и требовали немедленной и безусловной передачи советской власти всех церковных ценностей. Введя затем в заблуждение святителя Тихона, находившегося под арестом, протоиерей А. Введенский объявил себя представителем высшей церковной власти в Петрограде, в ответ на что был отлучен митрополитом Вениамином от церковного общения впредь до принесения покаяния.

Это и послужило для гражданской власти поводом к решительным действиям. Петроградские газеты, на своих страницах бессовестно лгавшие, что Церковь не желает помочь голодающим и пора с ней

разделаться по советским законам, запестрели новыми угрозами: «Митрополит Вениамин осмелился отлучить от Церкви священника Введенского. Меч пролетариата тяжело обрушится на голову митрополита».

29 мая 1922 года в помещении епархиальной канцелярии митрополит был арестован. При обыске к нему подошел под благословение протоиерей Александр Введенский. «Отец Александр, – спокойно промолвил Владыка, отказав в благословении, – мы же с Вами не в Гефсиманском саду». Вместе с митрополитом на скамью подсудимых было посажено еще 85 человек. Четырнадцать из них, в том числе настоятелю Троицкого Патриаршего подворья архимандриту Сергию Шеину, были предъявлены обвинения по статьям 62 и 119 Уголовного кодекса, предусматривающим высшую меру наказания.

Процесс, начавшийся в Петрограде 10 июня 1922 года можно с уверенностью назвать позором «революционного правосудия». Налицо нелепость и недоказанность обвинений, безграмотность обвинителей и судей, не справляющихся с дышлом советского «законодательства», попрание элементарных гражданских норм и многое другое. Зная уровень образования и опыт многолетней деятельности отца Сергия Шеина, можно предположить, какие чувства вызывал в нем происходящий спектакль.

Самому отцу Сергию вменяли в вину членство в Обществе православных приходов, в заседаниях которого он активно участвовал, якобы «обсуждая и разрабатывая вопросы противодействия советской власти». Вина его усугублялась такими «отягчающими обстоятельствами», как дворянское происхождение и высшее образование. Давая показания, отец Сергей был исполнен чувства глубокого внутреннего достоинства, но без малейшего намека на высокомерие и презрение к лицам, так этого заслуживавшим. Его ответы судьям и обвинителям были спокойны и точны. На вопрос об отношении к «живой церкви», отец Сергей ответил, что живую Церковь он знает только одну, ту, о которой сказано Церковь Бога Живаго – столп и утверждение истины (1Тим.3,15). Он не пытался скрыть или превратно истолковать свои националистические убеждения, но отказался отвечать на вопрос о том, по убеждению ли он пошел в монахи, ответив, что это дело его совести и этот вопрос он считает для себя оскорбительным. На вопрос о его отношении к злободневным проблемам церковно-общественной жизни отец Сергей совершенно искренне отвечал: «Церковь так богата разносторонней духовной жизнью, что можно найти в ней интерес и удовлетворение и вне вопросов церковно-общественной жизни».

4 июля, перед вынесением приговора, подсудимым было предоставлено последнее слово. По воспоминаниям очевидцев, последнее слово отца Сергия Шеина произвело сильное впечатление. Он нарисовал картину аскетической жизни монаха и сказал, что, отрешившись от суеты мира, отдал всего себя внутреннему деланию и молитве. «Единственная слабая физическая нить, – говорил он, – связывает меня с сей жизнью. Неужели же трибунал думает, что разрыв и этой последней нити может быть для меня страшен? Делайте свое дело. Я жалею вас и молюсь за вас». Революционный трибунал объявил смертный приговор десяти подсудимым, среди которых был и архимандрит Сергий.

10 августа 1922 года в «Известиях» было напечатано сообщение о помиловании шести приговоренных к смертной казни. Митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, Ю.П. Новицкий, И.М. Ковшаров помилованы не были. Из тюрьмы митрополит Вениамин сумел переслать письмо одному из благочинных Петроградской епархии. Оно было написано Владыкой Вениамином за несколько дней до расстрела:

«В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. – Времена переменялись, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий, избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжелых страданий, полный среди страданий и внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, общественное заплевание; обречение и требование этой смерти; якобы народные аплодисменты; людскую неблагодарность, продажность; непостоянство и тому подобное; беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за самую Церковь.

Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией.

Странны рассуждения некоторых, может быть, и выдающихся пастырей, разумею Платонова, – надо хранить живые силы, то есть их ради

поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются встать, – погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, как держат себя эсэры и т.п. Нам ли христианам, да еще иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века!

Трудно давать советы другим. Благочинным нужно меньше решать, да еще такие кардинальные вопросы. Они не могут отвечать за других. Нужно заключиться в пределы своей малой приходской церкви и быть в духовном единении с благодатным епископом. Нового поставления епископов таковыми признать не могу. Вам Ваша пастырская совесть подскажет, что нужно делать. Конечно, Вам оставаться в настоящее время должностным официальным лицом благочинным едва ли возможно. Вы должны быть таковым руководителем без официального положения.

Благословение духовенству!

Пишу, что на душе. Мысль моя несколько связана переживанием мною тревожных дней. Поэтому не могу распространяться относительно духовных дел».

В день начала Успенского поста, 114 августа 1922 года, когда духовные дети митрополита Вениамина, как обычно, принесли в тюрьму для него передачу, им сообщили, что «гражданин Казанский» и приговоренные вместе с ним к расстрелу архимандрит Сергей, профессора И.М. Ковшаров и Ю.П. Новицкий «потребованы и уже отправлены в Москву».

Следователи Петроградского ревтрибунала вскрыли в Александроневской Лавре опечатанные митрополичьи покои и изъяли «в уплату судебных издержек» большую часть принадлежащих Владыке вещей: тридцать одну икону, двадцать две фотографии, зеркальный шкаф с книгами, три ковра, семь столовых стульев, зеркало, настольные часы, кровать металлическую с двумя матрасами, лампу, деревянную тарелку с яйцами.

А полутора сутками раньше, в ночь на воскресенье, 13 августа, обритых и одетых в лохмотья – чтобы их не опознали и не отбили у конвоя питерцы, – митрополита и трех других новомучеников Российских отвезли на станцию Пороховые по Ириновской железной дороге и расстреляли.

В последние минуты перед кончиной священномученик Сергей громко молился: «Прости им, Боже, не ведают, что творят...»

Святой священномучениче Сергие, моли Бога о нас!
(По статье монаха Доримедонта (Сухинина), Троице-Сергиева Лавра,
Православная беседа, № 3, М., 1995)

Послание Свт. Тихона патриарха Московского

Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением.

Еще в августе 1921 г., когда стали доходить до нас слухи об этом ужасном бедствии, Мы, почитая долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам Нашим, обратились с посланием к главам отдельных христианских Церквей (Православным Патриархам, Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому) с призывом, во имя христианской любви, произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья.

Тогда же был основан Нами Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим, во всех храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначенных на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским Правительством излишней и все собранные Церковью денежные суммы потребованы к сдаче и сданы правительственному Комитету.

Однако в декабре Правительство предложило Нам делать, при посредстве органов церковного управления: Св. Синода, Высшего Церковного Совета, Епархиального, Благочиннического и церк.-приходского совета – пожертвования деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим. Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли возможным разрешить церковноприходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили Православное население 6(19) февраля с.г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения.

Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным руководителям Церкви, 10(23) февраля ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства, и Мы священным Нашим долгом почли

выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, неосвященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таким жертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти жертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство – миряне отлучением от Нее, священнослужители – извержением из сана (Апостольское правило 73, Двукратн. Вселенск. Собор. Правило 10).

(Акты Святейшего Патриарха Тихона, сост. М.Е. Губонин, М., 1994 г».)

Письмо Митрополита Вениамина в Петроградский губисполком

В заявлении от 5 марта 1922 года за № 372, препровожденном на имя Петроградской губернской комиссии помощи голодающим, мною было указано, что передача церковных ценностей на помощь голодающим может состояться только при наличии следующих трех условий: что все другие средства помощи голодающим исчерпаны, что пожертвованные ценности действительно пойдут на голодающих и что на пожертвование означенных ценностей будет дано разрешение Святейшего Патриарха.

Со всей определенностью указано на необходимость выполнения поименованных условий в форме, не составляющей никакого сомнения для верующего народа в достаточности необходимых гарантий, я в то же время вопрос о форме выполнения этих условий оставил открытым, так как полагал, что до выяснений приемлемости самих условий всякие рассуждения о форме являются преждевременными и нецелесообразными.

В день подачи мною указанного заявления я был вызван в Смольный в заседание комиссии по изъятию церковных ценностей. Оглашенный лично мною на означенном заседании текст поданного мною заявления не вызвал никаких возражений по существу. Это обстоятельство в связи с последовавшими по содержанию обращения заявлениями представителей власти о недопустимости насильственного отобрания ценностей, о реализации жертвуемых ценностей самими верующими под контролем гражданской власти, о предоставлении Церкви права благотворительности (через открытие, например, питательных пунктов при храмах, о непосредственных закупках хлеба с иностранных пароходов и прочее) не оставили во мне никакого сомнения в том, что выраженная в моем заявлении искренняя готовность Церкви придти на помощь голодающим на условиях, ею указанных, принята и оценена представителями власти по достоинству. Я тем с большим удовлетворением принял все вышепоименованные заявления представителей власти, что они самым убедительным образом рассеивали предубеждения многих верующих людей, склонных видеть и утверждать, что предпринятый по изъятию ценностей шаг преследует цель, ничего общего с помощью голодающим не имеющую. Однако к глубокому моему огорчению, появившиеся вскоре в газетах отчеты о заседании в Смольном, неправильно осветившие ход происходившей там беседы, поколебали мое первоначальное впечатление, а затем сообщения командированных мною на особое заседание комиссии

в Губфинотделе моих представителей решительно меня убедили в полном несоответствии заявлений, сделанных в моем присутствии на заседании в Смольном, с вопросами, поставленными на обсуждение комиссии в Губфинотделе. На заседании в Смольном мне было предложено назначить двух своих представителей в комиссии для разработки деталей предъявленных мною условий. В действительности же мои представители оказались в составе комиссий по принудительному изъятию церковных ценностей. Таким образом создалось положение, при котором мои представители в комиссии должны в сущности способствовать безболезненному осуществлению гражданской властью неправомерного по каноническим правилам посягательства на церковное достояние, являющееся, по нашей вере, достоянием Божиим. Ввиду создавшегося положения и в предупреждение дальнейших недоразумений и неправильных толкований моих словесных и письменных обращений, считаю своим долгом сделать следующее пояснение к моему письменному заявлению от 5 марта сего года № 372: вновь подтверждаю полную готовность вверенной мне Церкви Петроградской со всем усердием придти на помощь голодающим, если только ей будет предоставлена возможность свою благотворительную деятельность совершать в качестве самостоятельной организации, если при развитии своей благотворительной деятельности Церковь исчерпает все имеющиеся в ее распоряжении на голодающих средства, а именно: сборы среди верующих денег, церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, продовольствия, вещей, займа, а нужды голодающих, умирающих от голода братьев наших, означенными источниками покрыты не будут, тогда я признаю за собой и моральное и каноническое право обратиться к верующим с призывом пожертвовать на спасение погибающих и остальное церковное достояние, вплоть до священных сосудов, и исходатайствовать на такое пожертвование благословение Святейшего Патриарха, только при указанной в параграфах 1 и 2 самостоятельной организации благотворительной деятельности Церкви и возможное каноническое разрешение вопроса дает возможность обращения церковных священных ценностей на помощь голодающим. Немедленное же изъятие священных предметов без предшествующего ему использования Церковью всех других доступных ей средств благотворения является делом неканоничным и тяжким грехом против Святой Церкви, призвать на которое паству значило бы обречь себя на осуждение Святой Церкви и верующего народа, настаивая на предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим, я исходил из

предположения, что нужды голодающих столь велики, что Церковь вынуждена будет при развитии своей благотворительной деятельности отдать на голодающих и самые священные предметы, использовать которые по канонам и святоотеческим примерам только и может непосредственно сама Церковь. Если же предоставление Церкви самостоятельности в деле помощи голодающим будет признано почему-либо нежелательным, то тогда Церковь отказываясь, в силу канонической для себя невозможности, от передачи священных предметов, все же примет самое широкое участие в помощи голодающим, да только путем сборов денег, продовольствия, вещей и церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, и передаст гражданской власти все собранные суммы и предметы для израсходования их на голодающих и без требования даже какого-либо контроля со стороны Церкви.

Там, где свободе архипастыря и верующего народа не положено предела, мы можем пойти даже дальше, чем это принято в обычных формах общественной жизни. Где же она встречается с ясными и твердыми указаниями канонов, там для нее нет выбора в способе исполнения своего долга и я, и верующий народ, послушный Святой Церкви, должны исполнить этот долг вопреки всяким требованиям, тем более, что самое дело помощи голодающим от этого нисколько не пострадает, а лишь изменится форма вспомоществования церковными ценностями, которые будут использованы для голодающих, но только не через чуждых Церкви лиц, а через освященные руки пастырей и архипастырей Церкви,

5) Если бы указанное в сем положение мое о предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим гражданскими властями было принято, то мною немедленно был бы представлен проект церковной организации помощи голодающим на рассмотрение и утверждение его гражданской властью. Если же такого согласия не последует и равным образом Церкви не будет предоставлено право благотворения и в ограниченной форме, то тогда мои представители из комиссии будут мною немедленно отозваны, так как работать они мною уполномочены только в комиссии помощи голодающим, а не в комиссии по изъятию церковных ценностей, участие в которой равносильно содействию отобранию церковного достояния, определяемому Церковью как акт святотатственный.

Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было и представители власти, в нарушение канонов Святой Церкви, поступили

бы без согласия ее архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается как кощунственносвятотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители извержению из сана.

12 марта 1922 г. Вениамин, митрополит Петроградский «Слово», № 5, 1991

Письмо В.И. Ленина об изъятии церковных ценностей

Товарищу Молотову для членов Политбюро Строго секретно. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои пометки на самом документе.

Ленин.

По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений этого общего плана.

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. **Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления.** Именно теперь и только

теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, т.е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление **с такой жестокостью, чтобы**

они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, – никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой **и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.**

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной

решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. **Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше**⁴.

...Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т.е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквях.

Ленин.

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основой каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.

Публикацию секретного письма Ленина в «Вестнике РХД» (Париж, № 97, 1970) Н.А. Струве предварил следующими словами: «Подлинность его вне сомнения: на него есть прямая ссылка в «Полном собрании сочинений Ленина», т.45, М., 1964, с.666–667. «Март 19. Ленин в письме членам Политбюро ЦКРКП(б) пишет о необходимости решительно подавить сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 об изъятии церковных ценностей в целях получения средства для борьбы с голодом. (В «Архиве» имеет шифр ЦПАИМЛ, ф.2.0.1, ед.хр.22947). Но бдительные цензоры ленинских писаний не посмели включить это письмо в так наз. «Полное собрание сочинений», насчитывающее 55 томов».

Ленин знал и открыто писал, что хлеб в стране есть: «Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 млн.пудов избытка хлеба» (ПСС, Т.36, с.369). Вопрос стоял не о продовольствии, а только о политике: «Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам надо **заставить работать** в новых организационных государственных рамках. Мы имеем средство для этого... Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность» (Там же, с.269). «Потому что распределяя его (хлеб), мы будем господствовать над всеми областями труда» (там же,

с.449). Одним из проявлений **политики** был и вопрос об «изъятии церковных ценностей».

Из писем того времени

«Милый мой друг... Ты пишешь, что тебе очень хочется вернуться домой. Ты потому так говоришь, что, верно, не знаешь нашей жизни. Ведь это сплошной ужас, сплошное страдание. Мы медленно погибаем. Все, кто не принадлежит к партии коммунистов, разуты, раздеты, голодают, живут в разрушенных домах и с тупою покорностью ждут своего конца. Коммунисты едят, пьют, веселятся, швыряют направо и налево деньгами, и всякому, кто неосторожно выскажется против них, грозит тюремное заключение и смерть. У нас ограбили в городе все церкви и говорили, что деньги, вырученные от продажи церковных предметов, пойдут на покупку продовольствия для города, но все это ложь, ибо после ограбления пьянство и разгул усилились и коммунистические содержанки появились в бриллиантах, снятых с икон. Монастырь у нас упразднили и на монастырском соборе сняли крест и заменили его красной звездой. Молиться нам негде: из шести церквей в городе служба происходит только в одной, а другие запечатаны, а священники арестованы за то, что не хотели выдать святые предметы: чаши, лжицы, копия и пр. Все люди в городе, за исключением коммунистов, ходят, как тени, от голода и нравственных мучений. Одежда вся изнасилась, а новой делать нельзя, так как нет материалов, а если можно их найти, то простая ситцевая рубашка стоит миллион рублей. Ходим так: зимой на себя наворачиваем все тряпки, что есть в доме, а летом, т.е. теперь, надеваем прямо на голое тело рубашку из мешков. Обувки нет, носим туфли из кусков сукна, а летом босиком. Мыла нигде нельзя достать, поэтому мыться нечем. Нет иголок, ниток, почему все ходим в дырках, как прежде ходили нищие. Город наш имеет странный вид: все деревянные заборы снесены на топливо, так, что по всему городу можно ходить не по улицам, а насквозь. Деревянные дома тоже почти все разобраны. Каменные дома переполнены, потому что все жители собраны туда. Поэтому грязь, теснота страшная. Мы, например, живем восемь человек в одной комнате. Уборных нет, а все ходят за своей нуждой прямо на улицу, почему по городу местами нельзя пройти. Если и есть в городе хорошие дома, то они заняты коммунистами и их семьями. Там есть и электричество, а мы сидим в темноте, так как ни свечей, ни керосина ни за какие деньги не достанешь. Вот наша горькая жизнь, а ты хочешь приезжать. Зачем? Ведь ты нам все равно не поможешь. Тебя сейчас же угонят в концентрационный лагерь на испытание, а оттуда два выхода: или на тот свет, если ты не сочувствуешь коммунизму, или на

фронт, т.е. в Красную армию. Дома из приезжающих никого не оставляют. Сиди лучше и жди, Бог даст, кончится же скоро такая мука.

Очень мне жалко детей. Они, бедные, растут, не видя радости, а только видят преступления, смерть и кровь. Школы есть, но только по названию. На самом деле там ничему не учат, ибо нет учебников, нет учителей. Старых учителей советская власть забраквала, а новые сами еще должны учиться. Сидят бедные дети разутые, раздетые, голодные. Что из них выйдет, Бог один знает. Газет нам не дают читать никаких, кроме советских, а там все хвалят советскую власть. Кому хвалят? Нам! Да мы сами все на своем горбу несем. Господи! Да неужели же никто не видит, что Россия погибает. Пишут в советских газетах, что вы, беженцы, все не ладите между собой; что вы не поделили? Помните, что все то, что испытали вы, все это капля того, что переживаем мы, и вам надо помнить это крепко. Надо быть за одно, мы ведь от вас ждем спасения. Сами мы уже не люди, а призраки. Вот ты и смотри сам – надо тебе ехать или нет. По-моему, жди, надейся на Бога и терпи. Придешь тогда, когда можно будет жить и работать, а теперь не стоит.

Ты хочешь прислать нам денег. Не делай этого, потому что все равно мы или ничего не получим, или получим половину, а то и меньше. Месяц тому назад нам жена моего брата прислала 2000000 рублей, но на почте нам выдали только миллион, а другой без объяснения причин удержали. Почему, за что, об этом спрашивать не приходится у наших властей. Ответ все равно не получишь, а если будешь настаивать, то можешь угодить в тюрьму. Посылок тоже не присылай. Они исправно доходят только в Москву, а затем за ними надо ехать туда. Съездить же в Москву все равно, что на Северный полюс. Раньше езды было пять-шесть часов, а теперь – восемь-десять дней, да перед посадкой на поезд надо на станции ждать дня три-четыре. Кто едет теперь куда-нибудь, тот возвращается совершенно больной, ибо в поездах так тесно, что приходится стоять. А попробуй постоять пять-шесть дней. Затем ты можешь получить посылку, а по дороге у тебя ее отберут. Жаловаться же некому. Одним словом, мы все рабы, каторжники, что хочешь, но только не люди. Опять говорю – сиди там, пока можно, а то приедешь, только больше причинишь и себе, и нам муки и горя. Мы пока знаем, что хоть ты живешь по человечески, а то и ты зверем сделаешься».

(Калужская губерния, 1 мая 1922 г.). По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков.

Примечания

¹ - Прот.Философ Орнатский, настоятель Казанского собора пострадал вторым из петроградского духовенства. Он был почитаемым пастырем, прекрасным проповедником, много занимался благотворительной деятельностью, создавал детские приюты. После революции множество людей притекали к настоятелю Казанского собора за утешением. Большевики следили за мужественным пастырем, арестовали и впоследствии расстреляли двух его сыновей, гвардейских офицеров. Самого о. Философа арестовали весной 1918 г. В одно из воскресений перед собором собралась многотысячная толпа, и с хоругвями, иконами, пением молитв двинулась на Гороховую 2. Чекисты приняли делегацию прихожан и уверили, что о. Философа скоро выпустят. Толпа разошлась. В ту же ночь о. Философ был расстрелян. По дороге к месту казни в грузовике о. Философ молился, утешал других приговоренных к смерти

² - Воспоминания отца Михаила Чельцова – это страшный исторический документ. От множества обличений и описаний ужасов российского лихолетия они существенно отличаются тем, что по своей беспощадной откровенности и искренности это скорее исповедь – исповедь священника духовно приготавливающего себя к расстрелу. Он не красуется, не пытается показать себя в наилучшем свете, а, наоборот, пишет о том как падает духом, как боится, как надеется на то, что его минует эта страшная участь. Перед лицом смерти он не нашел возможным для себя умолчать и о своих сомнениях... – и от них надо было очистить свою совесть, чтобы с просветленной душой и изменившимся отношением ко всем своим трудностям, взять свой крест и встать на путь мученичества

³ - Канонизация митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, осужденных вместе с о. Михаилом, свидетельствует о том, что их страдания были страданиями мучеников за Церковь

⁴ - По неполным данным, в течение 1922 года было уничтожено 8100 духовных лиц, кроме того тысячи людей погибли, защищая святые иконы и священные сосуды от комиссий по изъятию церковных ценностей (Журнал «Слово», № 5, 1991, М.)

Содержание

Воспоминания „смертника“ о пережитом священномученик Михаил Чельцов	1
Воспоминания 1918–1922 годов	3
Первый обыск	4
Первый арест	6
Часть 1	7
Часть 2	14
Впервые на Гороховой	22
Дерябинская тюрьма	26
Часть 1	27
Часть 2	35
Второй арест. Выборгская бывшая военная тюрьма	45
Обыски 1919–1920 гг.	50
Третий арест. Кресты	52
Четвертый арест – в Кронштадте	54
Пятый арест и снова Гороховая и Выборгская тюрьма	56
Пояснение	62
Воспоминания	64
Часть 1	65
Часть 2	70
Часть 3	75
Часть 4	80
Часть 5	88
Часть 6	92
Часть 7	102
Часть 8	108
Священномученик Сергей	113
Послание Свт. Тихона патриарха Московского	120
Письмо Митрополита Вениамина в Петроградский губисполком	122
Письмо В.И. Ленина об изъятии церковных ценностей	126
Из писем того времени	131
Примечания	133

